

Песнь Соломона

Автор:

Тони Моррисон

Песнь Соломона

Тони Моррисон

Loft. Нобелевская премия: коллекция

Тони Моррисон – уже классик, первая писательница-афроамериканка, которая была удостоена Нобелевской премии. Каждый ее роман – ярчайший представитель современной американской литературы, ведь сквозь историю и поэтику она рисует истинную судьбу человека. «Песнь Соломона», книга, в США ставшая культовой, в России последний раз была опубликована около пятидесяти лет назад.

Молочник Помер – колоритнейший персонаж. Сын бизнесмена, он всю жизнь был что-то должен семье: матери, чья любовь порой напоминала болезнь, и отцу – так и не смилившемуся с тем, что сын может выбрать собственную судьбу. Выбор – такой наглости никто себе позволить не может! Но Молочнику Померу тесно, тоскливо. Ему необходимо вырваться на свободу и понять, кто он на самом деле и чего может достичь. И вот однажды он слышит песнь о своем прадеде Соломоне, чья жизнь так и осталась загадкой для окружающих. И он решает рискнуть.

«Масштабный роман... многослойный и новаторский». – The New Yorker

«Тони Моррисон оказалась в первом ряду современных американских писателей. Она написала роман, который выдержит испытание временем». – The Washington Post

Тони Моррисон

Песнь Соломона

Моему папе

Отцам – в вышине парит.

Детям – знать их имена.

Toni Morrison

SONG OF SOLOMON

Copyright © 1977 by Toni Morrison

© Короткова Е., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Часть I

Глава 1

Агент «Северокаролинского общества взаимного страхования жизни» пообещал в три часа дня взлететь с крыши «Приюта милосердия» и перенестись на противоположный берег озера Сьюпериор. За два дня до этого события он прикрепил кнопками на дверях своего желтого домика объявление:

«В три часа пополудни в среду, 18 февраля 1931 года, я взлечу на собственных крыльях с крыши «Приюта милосердия». Простите меня, пожалуйста. Я любил вас всех. (подпись) Роберт Смит, страх. агент».

Мистер Смит собрал гораздо меньшую толпу, чем четыремя годами раньше Линдберг[1 - Линдберг Чарлз (1902-1974) – американский летчик. В 1927 г. совершил первый беспересадочный полет через Атлантический океан. – Здесь и далее примеч. перев.] – зрителей насчитывалось всего человек сорок-пятьдесят, – так как лишь к одиннадцати часам утра той среды, которую он выбрал для полета, его объявление впервые попало кому-то на глаза. В утренние часы, да еще в середине недели, новости распространяются не столь уж быстро. Дети в школе, мужчины на работе, а большинство женщин еще затягивают корсеты, готовясь заглянуть в мясную лавку и узнать, будет ли нынче хозяин раздавать даром достойные внимания потроха и хвосты. Лишь безработная, работающая на себя и самая юная часть населения прибыла к месту происшествия: либо намеренно – прослышав о полете, либо случайно – потому что именно в эту минуту проходила по приозерной части Недокторской улицы – название, не признаваемое почтовой службой. На городских картах Недокторская улица носила название Мэйнз-авеню, но на ней жил и скончался единственный в городе темнокожий доктор, и в 1896 году, когда он сюда переехал, его пациенты, из которых никто не обитал даже поблизости от этой улицы, прозвали ее Докторской улицей. Позже, когда сюда перебрались и другие негры и когда у них вошло в обычай пользоваться услугами почтовой службы на предмет общения между собой, из Луизианы, Виргинии, Алабамы и Джорджии стали поступать письма, адресованные людям, проживающим на Докторской улице. Служащие почты отсылали их обратно либо сдавали в отдел недоставленных писем. Затем, в 1918 году, когда цветных стали брать в армию, некоторые из них сообщили на призывном пункте, что живут на Докторской улице. Таким образом название приобрело чуть ли не официальный статус. Впрочем, ненадолго. Кое-кто из городских законодателей, чья политическая деятельность заключалась главным образом в заботе о том, чтобы все таблички в городе содержались в порядке и указывали что положено, взял на себя труд искоренить название «Докторская улица» в официальных документах. И так как им было известно, что его употребляют только жители Южного предместья, они немедленно разослали во все магазины, парикмахерские и ресторанчики этого предместья уведомления, гласившие, что улица, пролегающая к югу и к северу от набережной и выходящая к озеру у пересечения ведущих в Пенсильванию 6-го и 2-го шоссе и к тому же проходящая между Бродвеем и Резерфорд-авеню и расположенная параллельно им, всегда была известна и впредь будет известна

как Мэйнз-авеню, а отнюдь не Докторская улица.

Мероприятие это оказалось весьма эффективным, поскольку предоставило, с одной стороны, обитателям Южного предместья возможность увековечить память доктора, а с другой – уважить требования местных законодателей. Изобретательные жители Южного предместья тут же назвали эту улицу Недокторской улицей и были также склонны назвать расположенную в ее северной части благотворительную больницу «Приютом немилосердия», ибо лишь в 1931 году, на следующий день после того, как мистер Смит спрыгнул с больничной крыши, беременной цветной женщине впервые было дозволено родить не на ступеньках больницы, а в одной из ее палат. Причиной такого великодушия администрации послужило вовсе не то, что именно эта женщина являлась единственной дочерью вышеупомянутого темнокожего врача, ибо врачу за всю жизнь ни разу не была оказана здесь врачебная помощь и лишь двое из его пациентов были допущены в «Приют милосердия», оба белые. К тому же доктор умер задолго до 1931 года. Они впустили ее исключительно потому, что мистер Смит спрыгнул с крыши, находящейся у них над головами. Во всяком случае, если убежденность страхового агента в том, что он может летать, никак не обусловила место разрешения этой дамы от бремени, то уж время его она обусловила несомненно. Едва увидев, как мистер Смит точно в назначенный час возник на куполе крыши, скрестив на груди широкие голубые шелковые крылья, дочь покойного доктора уронила плетеную корзиночку, и из нее посыпались лепесточки роз, вырезанные из алого бархата. Ветер подхватил их, швырнул вверх, вниз, разбросал по снегу. Ее дочери, две девочки-подростки, заметались, стали ловить лепестки, а мать стонала и держалась за живот. На девочек многие обратили внимание, но стоны беременной дамы остались неслышанными. Все знали, что девочки проводят долгие часы, изготавливая эти розы, кроют, режут, сшивают дорогой бархат, и, если на каких-то лепестках окажутся пятнышки, универсальный магазин Герхарда ни в коем случае товар у них не примет.

Сперва было весело, славно. Мужчины тоже кинулись подбирать лоскутки, пока те не намокли от снега, ловили их на лету, осторожно поднимали с земли. Ребятишки сперва не решили, глядеть ли им на человека с голубыми крыльями или на пылающие на земле красные лоскутки. Их раздумьям наступил конец, когда запела какая-то женщина. Она стояла в задних рядах толпы и одета была плохо, настолько же плохо, насколько хорошо была одета дочь врача. На последней было элегантного покроя серое пальто с поясом и бантом посередине живота, как положено ходить беременным, черная шляпа с высокой тульей и ботинки на четырех пуговицах. На той, что запела, был синий вязаный колпак,

низко надвинутый на лоб. Зимнего пальто у нее не имелось, и она просто завернулась в старое стеганое одеяло. Склонив голову набок и не спуская глаз с мистера Роберта Смита, она пела звучным контральто:

О, Сладкий мой, ты улетел,

О, Сладкий мой, уплыл, ушел,

О, Сладкий мой, небо пронзил,

Сладкий ты мой, уплыл домой.

Из полусотни собравшихся там людей лишь несколько подтолкнули друг друга локтем и захихикали. Остальные слушали с таким вниманием, словно это были звуки пианино, сопровождающие и разъясняющие содержание немого фильма. Так они и простояли какое-то время, и никто ничего не крикнул мистеру Смигу, поскольку всех собравшихся тут занимали другие происшествия, менее значительные, чем предстоящий ему прыжок; а потом на улицу вышел персонал больницы.

До сих пор они смотрели из окон – поначалу просто с любопытством, затем, когда толпа, казалось, расползлась до самых стен больницы, с некоторой опаской. Подумали, уж не затеяла ли тут очередную демонстрацию какая-нибудь националистическая группа. Но, не увидев ни плакатов, ни ораторов, вышли из помещения на холод: хирурги в белых халатах, служащие в темных пиджаках и три сиделки в накрахмаленных длинных блузах.

При виде мистера Смита с голубыми крылами они на несколько мгновений окаменели. Пение женщины и разбросанные по земле цветы нисколько не проясняли ситуацию. Кое у кого мелькнула мысль, что, возможно, они присутствуют при каком-то обряде. Не так уж далеко от них находилась Филадельфия, где властвовал Благий отец[2 - Джордж Бейкер (1875–1965) – глава и основатель культа «Миссии мира»]. Возможно, две отроковицы, держащие корзины с цветами, – это девственницы, посвятившие себя его культу. Но тут вдруг расхохотался какой-то прохожий, сверкнув золотыми зубами, и они опомнились. Спустились с облаков на землю и сразу же занялись делом, стали распоряжаться. И оттого, что они начали кричать и суетиться, поднялась ужасная суматоха на довольно тихой улице, где перед этим только несколько мужчин и девочек подбирали изрезанный на лоскутики бархат да пела женщина.

Одна из сиделок, решив навести хоть какой-то порядок, внимательно огляделась, и ей попала на глаза полная женщина, имевшая такой решительный вид, что казалось, ей захочется, она свернет горы.

– Эй, послушайте-ка, – сказала сиделка, направляясь к ней. – Это ваши дети?

Полная женщина медленно обернулась, приподняв брови: ей не понравилась бесцеремонная манера обращения. Затем, увидев, кто ее окликнул, она опустила и брови, и веки.

– Мэм?

– Пошлите-ка одного из ваших ребят к нам в приемный покой. Пусть скажет дежурному, чтобы скорее шел сюда. Вот можно этого мальчика послать. Вон того, – она показала пальцем на мальчика лет пяти-шести с кошачьими глазами.

Полная женщина покосилась в ту сторону, куда тыкала пальцем сиделка.

– Это Гитара, мэм.

– Что?

– Гитара.

Сиделка изумленно вытаращила глаза, словно ее собеседница заговорила по-валлийски. Потом снова взглянула на мальчика с кошачьими глазами, сцепила пальцы и проговорила очень медленно, обращаясь к нему:

– Слушай-ка. Зайди с той стороны за больницу к дежурному. Увидишь надпись на дверях: «Приемный покой». ПОКОЙ. Там сидит дежурный. Вели ему скорее прийти сюда. Ну, шагай-ка, шагай! – Она замахала руками, будто разгребала вокруг себя холодный воздух.

К ней подошел мужчина в коричневом костюме, изо рта у него вылетали белые облачка пара.

– Ступайте в помещение. Сюда уже едет пожарная машина. Вы тут до смерти замерзнете.

Сиделка кивнула.

– Мэм, зачем вы все время говорите «ка»? – спросил мальчик. Он приехал на Север недавно и лишь недавно начал понимать, что ему можно разговаривать с белыми. Но сиделка торопливо ушла, потирая от холода руки.

– Бабушка, она зачем-то все время добавляет «ка».

– И пропускает «пожалуйста».

– Ты думаешь, он прыгнет?

– От ненормального всего можно ждать.

– А кто он?

– Собирает страховые взносы. Ненормальный.

– А тетенька, которая поет?

– А уж это, деточка, и вовсе конец света. – Но улыбнулась, глядя на поющую женщину, и мальчуган с кошачьими глазами, ее внук, слушал пение с таким же вниманием, с каким глядел на мужчину, который взмахивал крыльями на крыше больницы.

Сейчас, когда в дело предстояло вмешаться блюстителям порядка, толпа слегка забеспокоилась. Здесь каждый знал мистера Смита. Он являлся дважды в месяц к ним домой получить доллар шестьдесят восемь центов и вписать на желтую карточку дату уплаты взноса и сумму – восемьдесят четыре цента в неделю. Они задерживали платежи на полмесяца, а то и больше и вели бесконечные разговоры о том, что впредь будут вносить деньги раньше срока... отругав его сперва за то, что он так скоро к ним явился:

– Ты уж снова тут? А вроде бы я только-только от тебя отделался.

– Надоело мне на твою рожу глядеть. Надоело, хоть плачь.

– Ну, так и знал. Только звякнут друг о дружку две монетки, а ты уж тут как тут. Словно жатка ходишь и подбираешь каждую травинку. Небось уж сам президент о тебе наслышан!

Они насмехались над ним, оскорбляли его, наказывали детям говорить, что родителей нет дома, или они захворали, или уехали в Питсбург. Желтые карточки, однако же, берегли, словно и в самом деле могли от них дожидаться проку, – бережно укладывали их в коробку от ботинок, где уже лежали разные квитанции, свидетельство о браке, служебные значки давно уже переставшей существовать фабрики. А мистер Смит лишь улыбался, и его взгляд был все время сосредоточен на ногах клиента. Отправляясь по делам, он надевал строгий костюм, но домик у него был ничуть не лучше, чем у прочих. Женщин он, насколько известно, к себе не водил, в церкви разве что говорил «аминь», да и то изредка. Он ни разу в жизни никого не избил, после наступления темноты не шлялся по улицам, и клиенты думали, что он, пожалуй, неплохой человек. Но он был прочно связан в их сознании с болезнями и смертью, символом которых являлся коричневый рисунок на обороте желтых карточек, изображавший здание «Северокаролинского общества взаимного страхования жизни». Самым интересным поступком в его жизни оказался прыжок с крыши «Приюта милосердия». Такого от него не ожидали. «Он нам просто голову морочит, – перешептывались зеваки, – и чего только не выдумают люди».

Та женщина, что пела, теперь замолчала и, чуть слышно мурлыча мелодию себе под нос, пробралась сквозь толпу к даме с бархатными лепестками, которая по-прежнему держалась за живот.

– Вам сейчас нужно согреться, – прошептала она, слегка тронув даму за локоть. – Завтра утром вылупится птенчик.

– Как? – удивилась дама. – Завтра утром?

– Ну не сегодня же. Сегодняшнее утро уже прошло.

– Не может быть, – сказала дама. – Это слишком скоро.

– Ничего не скоро. Самое время.

Женщины глубоко заглянули друг дружке в глаза, но тут вдруг толпа взревела. «О-о!» – прокатилось волною. Мистер Смит, на миг потеряв равновесие, делал героическую попытку уцепиться за торчавший на куполе деревянный треугольник. Женщина вновь запела:

О, Сладкий мой, ты улетел,

О, Сладкий мой, уплыл, ушел...

Где-то на окраине пожарные натягивали свои робы, но, когда они прибыли к «Приюту милосердия», мистер Смит уже успел увидеть бархатные лепестки, послушать пение и прыгнуть в воздух.

На следующий день в стенах «Приюта милосердия» впервые родился чернокожий младенец. Голубые шелковые крылья мистера Смита, наверное, оставили в жизни ребенка след, ибо, сделав к четырем годам открытие, которое мистер Смит совершил до него: только птицы и аэропланы способны летать, – он утратил к себе интерес. Сознание, что он лишен этого редкостного дара, так его опечалило, так подавило в нем игру воображения, что его считали скучным даже женщины, которые не испытывали неприязни к его матери. Те, кто испытывал, те, кто ходил на ее чаепития и завидовал докторскому дому, большому, темному, состоящему из двенадцати комнат, и зеленому седану, говорили, что мальчик «со странностями». Другие, которым было известно, что дом этот скорее тюрьма, чем дворец, а седаном пользуются лишь по воскресеньям, жалели Руфь Фостер и ее замороженных дочек, мальчика же называли «необычным». Даже загадочным.

– Он правда родился в сорочке?

– Сорочку надо было высушить, истолочь, заварить чай и поить его. Иначе ему будут являться привидения.

– Вы в это верите?

– Я нет, но старики так говорят.

– Ладно, он, во всяком случае, необычный мальчик. Посмотрите на его глаза.

Они выковыривали изо рта кусочки недопеченного «солнечного» торта и опять заглядывали мальчику в глаза. В ответ он вежливо смотрел на них, стараясь, что есть сил, потом бросал умоляющий взгляд на мать, и ему разрешалось покинуть гостиную.

Не так просто выйти из гостиной под журчанье голосов, плещущих тебе в спину, распахнуть тяжелые двойные двери столовой, шмыгнуть вверх по лестнице, мимо всех спален, да так, чтоб не заметили Лина и Коринфиянам, которые, словно две большие куклы, сидят перед столом, заваленным обрезками красного бархата. Сестры мастерили розы. Яркие безжизненные розы месяцами лежали в корзинах, пока от Герхарда не посылали привратника Фредди сообщить барышням, что требуется очередная партия их изделий. Если мальчику удавалось незаметно прошмыгнуть мимо сестер, имевших обыкновение как бы невзначай пустить ему вслед какую-нибудь колкость, он взбирался в своей комнате на подоконник и дивился вновь и вновь, почему он обречен не отрываться от поверхности земли. Тогда особняк доктора заполняла тишина, нарушаемая только рокотом голосов в гостиной, где посетительницы ели «солнечный» торт; она одна царила в доме – тишина. Тишина, но не мирная, так как предшествовало ей и вскорости ее прервет присутствие Мейкона Помера.

Плотный, шумный, он обычно возникал совершенно неожиданно, и все домашние цепенели от страха. В каждом слове, сказанном жене, сверкала ненависть. Он как пепел стряхивал свое неодобрение на головы дочерей, и их желтые, как масло, щеки тускнели, не слышалось девичьей звонкости в приглушенных голосах. Под испепеляюще-холодным взглядом его глаз они спотыкались на пороге и роняли в солонку желток. В его присутствии они теряли грацию, сообразительность, уверенность в себе – но только это и вносило в их жизнь оживление. Если бы не напряженность и волнение, вспыхивающие при нем, они не знали бы, куда себя девать. В его отсутствие они сидели, склонившись над багряными лоскутками бархата, и жадно вслушивались в ожидании его, а Руфь, его жена, встречала каждый день безмолвием, так подавляло ее мужнино презрение, и оно же взбадривало ее к концу дня.

Она провожала последнюю гостью, закрывала дверь, и тихая улыбка гасла на ее губах, а затем принималась готовить мужу еду, которую он находил несъедобной. Не по злomu умыслу готовила она неаппетитно: стряпать иначе она

не могла. Заметив, что ее приятельницы слишком искромсали торт и мужу подавать его нельзя, она решала, что на десерт будет сыр. Но, готовя котлету, так долго пропускала через мясорубку телятину и говядину, что не только забывала о свинине – компонент необходимый, так как сало сдобрило бы фарш, – но и вообще не успевала нарезать сыр. Тут она начинала торопливо накрывать на стол. Она разворачивала белую скатерть, чтобы накрыть старинный, красного дерева стол, и на глаза ей снова попадалось большое пятно на столешнице. Каждый раз, когда она накрывала на стол или проходила по столовой, взгляд ее падал на это пятно. Как смотритель маяка невольно подходит к окну еще раз взглянуть на море, как заключенный машинально ищет глазами в небе солнце, выходя на очередную прогулку, Руфь по несколько раз в день смотрела на это пятно. Она знала, пятно на месте и никуда не денется, но ей хотелось убедиться в этом еще раз. Как для смотрителя маяк, как для заключенного солнце, пятно это служило для нее ориентиром – нечто постоянно находящееся на месте, удостоверяющее, что и мир стоит на месте, что все это явь, а не сон. Что и в ней самой где-то внутри теплится жизнь, а единственным подтверждением этого служит издавна знакомое пятно, находящееся вот здесь, вне ее.

Даже упрятавшись в пещеру сна, где она не думала о пятне и оно ей не снилось, она ощущала его присутствие. И как от него только избавиться – она без конца обсуждала и с дочками, и с приятельницами, которые приходили к ней в гости, как уничтожить этот единственный изъян на дивном красном дереве; мазала вазелином, табачным соком, йодом, сперва драила песком, а затем смазывала это место льняным маслом. Все перепробовала. Но пятно будто кто заколдовал: оно не только по-прежнему оставалось на месте, но с годами, казалось, становилось все отчетливей, заметней.

На том месте, где виднелся этот сероватый расплывчатый кружок, при жизни доктора находилась ваза, в которую ежедневно ставили свежие цветы. Ежедневно. А если не было цветов, в ней красиво располагали листья, затейливые сучковатые веточки и ветки с ягодами, вербу, шотландскую сосну... Во всяком случае, к обеду стол всегда был украшен.

Отец считал, что этот с виду незначительный штришок выделяет их семью из окружающей среды. А для Руфи ваза символизировала изящество и сердечное тепло, в которых, как она считала, протекало ее детство. Когда на ней женился Мейкон и поселился в доме доктора, она все так же соблюдала этот ежедневный ритуал. А потом пришел тот день, когда она через самые плебейские кварталы пробралась к берегу реки, куда водой прибило лес. Она увидела в газете, в

отделе «Домоводство», как красиво расположить в вазе ветки и сухие водоросли, когда-то выброшенные на берег волной. Стоял промозглый ноябрьский день; доктора к тому времени уже разбил паралич, ел он в спальне, и только жидкую пищу. Ветер приподнимал край ее юбки, приоткрывая лодыжки, забирался в шнурованные ботинки. Дома ей пришлось растереть ноги нагретым оливковым маслом. За обедом она спросила мужа – они сидели за столом вдвоем, – нравится ли ему новое украшение в вазе.

– Большинство не замечает таких вещей. Просто не видят, как это красиво. Не понимают, что природа сама все это довела до полного совершенства. Вот с этой стороны взгляни. Прелестно, правда?

Муж поглядел на обломки дерева, обвитые ажурными светло-желтыми водорослями, и, не поворачивая к ней головы, произнес:

– Цыпленок красный возле костей, не прожарился. И потом, не знаю, может быть, и есть такое блюдо из картофеля, где должны оставаться комки, но только это не пюре.

Руфь оставила в вазе водоросли и позже, когда они раскрошились и осыпались коричневыми струпами на стол, смахнула этот мусор, а вазу унесла. Но след, который раньше прикрывала ваза, стал теперь заметен. А став заметным, вдруг будто и сам явил собой какое-то растение, расцвел и превратился в исполинский сероватый цветок – он то лихорадочно пульсировал, то вздыхал с тихим шелестом, словно приморские дюны. Впрочем, он бывал и очень тих. Терпелив, тих и спокоен.

Но ориентир ведь не опора, можно лишь признать его существование в знак подтверждения какой-нибудь идеи, если вам желательно, чтобы идея эта жила. А вот для того, чтоб дотянуть от восхода солнца до заката, требуется уже другое: некий бальзам, ощущение тепла и нежности. И, стряхнув с себя апатию, Руфь сразу же после приготовления обеда становилась деятельной, стараясь успеть до прихода мужа из конторы. Всего две радости она втайне позволяла себе – к одной из этих радостей был причастен ее сын, и сама комната, в которой она ей предавалась, в какой-то мере тоже усугубляла удовольствие. Здесь царил зеленоватый влажный полумрак, так как сосновые ветви прикрывали все окно и затеняли свет. Эту маленькую комнату доктор называл когда-то кабинетом, а теперь, кроме швейной машинки и манекена в углу, здесь стояло лишь кресло-качалка да скамеечка для ног. Руфь садилась, устраивала

сына на коленях и кормила его грудью, не отводя взгляда от его закрытых глаз. Ее побуждало вглядываться с такой пристальностью в его лицо не столько чувство материнской нежности, сколько нежелание глядеть на его свисавшие чуть не до полу ноги.

В конце дня, когда муж запирает контору и отправляется домой, Руфь заходила в маленькую комнату и звала сына. Он входил, она расстегивала блузку, улыбаясь. Он был еще так мал, что его не смущала ее обнаженная грудь, но безвкусное материнское молоко ему не нравилось – для этого он уже достаточно вырос, – а потому входил он неохотно, как бы выполняя надоевшую обязанность, а выполнял он ее ежедневно и, втягивая пресное сладковатое молоко, старался не сделать нечаянно матери больно зубами.

В ней отзывалось все, что было в нем: принужденность, безразличие, вежливая покорность, – и воображение ее работало вовсю. У нее было вполне отчетливое ощущение, будто он вытягивает из нее нить света. Ей казалось, из нее струится золото, виток за витком. Она была как дочка мельника, та самая, что просидела ночь на сеновале, наделенная волшебной силой, которой одарил ее Румпельштилцкин, – она тоже воочию видела нить золотой пряжи, струившуюся из нее. И в этом она тоже черпала наслаждение, и было невозможно от него отказаться. Поэтому, когда привратник Фредди, которому нравилось делать вид, будто он друг дома, а не просто слуга и квартиросъемщик, как-то в конце дня явился с платой за квартиру и заглянул в окно сквозь сосновые ветки, Руфь тут же поняла: она утратила отныне половину того, что делало ее жизнь сносной, и ужас вспыхнул в ее глазах. Фредди, однако же, решил, что она просто смущена, тем не менее продолжал ухмыляться.

– Боже милостивый! Подохнуть можно.

Он стал раздвигать ветки, чтобы получше все разглядеть, но не ветки ему мешали – его прямо-таки корчило от смеха. Руфь поспешно вскочила, прикрыла грудь, а ее сын свалился на пол, и ее торопливость и смущение подтвердили то, что он давно уже подозревал: все это действительно неправильно и скверно.

Мать с сыном не успели ни слова сказать, привести себя в порядок, даже переглянуться, а Фредди тем временем уже обогнул дом, взбежал на крыльцо и завопил, давась от смеха:

– Мисс Руфи! Мисс Руфи! Где вы? Где же вы? – Он распахнул дверь с таким видом, словно входит в собственную комнату. – Просто подохнуть можно, мисс Руфи! Когда я видел это в последний раз? И не упомню. То есть тут, конечно, ничего дурного нет. В старину даже... Просто, понимаете ли, у нас не так уж часто этакое встретишь... – А смотрел он все время на мальчика.

Присматривался к нему, словно между ними возникли какие-то свои дела, к которым Руфь была непричастна. Фредди смерил мальчика взглядом внимательно, хоть и украдкой, и отметил поразительный контраст между лимонно-желтой кожей Руфи и черной кожей мальчугана. – В старину на Юге многие женщины подолгу кормили ребятишек грудью. Многие так делали. Но в наши времена такие вещи редкость. Правда вот, в одной семье, слышал я, мамаша с придурью была, мальчугана своего кормила, по-моему, чуть ли не до тринадцати лет. Но это уже многовато, верно? – Он трещал без умолку, а сам все потирал подбородок да поглядывал на мальчика. Потом наконец умолк и захихикал. Нашел-таки нужное слово. – Молочник! Вот, мисс Руфи, кто он у нас будет. Форменный Молочник, можете уж мне поверить. Берегитесь, бабы! Молочник идет. У-у!

Фредди оповестил о своем открытии не только тот район, где жила Руфь, но и Южное предместье, где проживал он сам и где находились доходные дома Мейкона Помера. Поэтому Руфь почти два месяца не высывала носу из дому и не устраивала чаепитий, опасаясь, чтобы какая-нибудь приятельница не сообщила ей невзначай, что сын ее наречен новым именем, от которого ему уже никогда не избавиться, а это никоим образом не будет способствовать улучшению ее отношений с Мейконом Помером, а также его отношений с сыном.

А Мейкон Помер так и не узнал, откуда же оно взялось, каким образом его единственный сын заполучил эту кличку, прилипшую к нему накрепко, хотя сам Мейкон Помер никогда ее не признавал и не употреблял. Все это очень его занимало, поскольку в их семье, по его мнению, при выборе имен неизменно проявлялась воистину безграничная глупость. При нем ни разу не упомянули эпизод, из-за которого возникла кличка: трудноато подступиться к такому, как он, – тяжелый человек, держится холодно, сухо, попробуй-ка вступи с ним в непринужденный разговор. Только привратник Фредди позволял себе запросто болтать с Мейконом Помером, он ведь оказывал Мейкону разного рода услуги, но уж кто-кто, а Фредди ни за что бы не стал растолковывать ему, в чем дело. Вот почему Мейкон Помер так и не услышал, а потому и не представил себе, как Руфь в ужасе неловко вскакивает с качалки, как мальчик падает и больно

ушибается о скамеечку для ног, как ликует и веселится Фредди, уразумев, что происходит.

Но и не зная подробностей, он догадался, так как ненависть усугубляет пронизательность, что в прозвище, с которым к его сыну обращались школьные товарищи и даже старьевщик, когда отсчитывал мальчику три цента за кучу старого тряпья, – что в этом прозвище есть что-то нечистое. Молочник. Не добропорядочный доильщик, честный труженик молочной фермы, не сверкающие холодным блеском бидоны, которые выстроились на заднем крыльце, словно почетный караул, нет, что-то совсем-совсем другое связывалось с этим словом. Что-то грязное, интимное и жаркое. Он чувствовал: происхождение этой клички связано каким-то образом с его женой, и его охватывало отвращение – мысль о ней всегда будила в нем это чувство.

Сын вызывал в нем отвращение и беспокойство, что накладывало отпечаток на каждый его шаг, каждый поступок. Насколько легче было бы, если бы он мог грустить, просто грустить. Пятнадцать лет он с нетерпением мечтал о сыне, и теперь у него наконец-то есть сын, но какие-то мерзкие обстоятельства отравили ему всю радость.

Давно ушли те времена, когда у Мейкона была густая шевелюра, а Руфь носила нижнее белье со множеством застёжек и завязочек и он любил ее подолгу раздевать. Ему нравилось медленно распускать, развязывать, расстегивать ее белье, самое прекрасное, изящное, мягкое и белоснежное, какое только можно вообразить себе. Он вытаскивал шнурки из каждой дырочки на корсете (а их было сорок – по двадцать с каждой стороны), развязывал голубые ленточки, продернутые сквозь снежно-белый корсаж. Он не только их развязывал, но и выдергивал, так что Руфи приходилось потом заново просовывать их, прикрепив к булавке. Он щелкал кнопками, то отстегивая, то снова пристегивая подушечки от пота, прикрепленные к комбинации эластичной лентой. Оба молчали и только хихикали, как ребятишки, играющие в доктора.

А потом она лежала обнаженная, и ее вялое тело было как неочищенный сахар, а он ей расшнуровывал ботинки, снимал чулки, и вслед за тем они соединялись. Ей все это нравилось. Ему тоже. За двадцать лет, что он не видел ее голую, он вспоминал с тоской лишь о ее белье.

Когда-то ему казалось, он никогда не забудет, как она целовала руку мертвеца. Он ошибся. Мало-помалу из памяти исчезали подробности, так что под конец ему

пришлось вообразать их себе, даже выдумывать, прикидывая в уме, как все это могло происходить. Он забыл, как это выглядело, помнил лишь, что мерзко. И еще сильнее злился, вспоминая ее белье: круглые дырочки-глазки корсета больше никогда не взглянут на него.

Так что, если его сына прозвали Молочник, а Руфь, слыша это прозвище, опускает глаза и промокает платочком сразу вспотевшую верхнюю губу, тут, несомненно, замешана какая-то мерзость, а уж подробности ему могут и не сообщать.

Их и не сообщали. Одни не хотели, другие не смели. Лина и Коринфянам, живая память тех времен, когда он развязывал тесемочки и ленты, хотели бы, да не смели. А единственная, кто посмела бы, но не хотела, не считая это необходимым, была его сестра, которую он ненавидел еще больше, чем жену. Они не виделись с рождения его сына, и у Мейкона не было ни малейшего желания возобновить прерванные отношения.

Мейкон Помер нащупал в кармане ключи и поигрывал увесистой связкой, чувствуя, как это успокаивает его. Это были ключи от всех дверей в его домах (домов, собственно, было четыре; остальные просто лачуги), и он время от времени касался их пальцами, направляясь по Недокторской улице к своей «конторе». По крайней мере он считал ее конторой, даже велел вывести краской на дверях слово «Контора». Но витрина из зеркального стекла опровергала это утверждение. Полукруг, составленный из золотых, порядочно облезших букв, именовал его предприятие «Магазином Санни». Соскабливать имя предыдущего владельца едва ли имело смысл, коль скоро его все равно ни у кого не выскоблишь из памяти. Не было такого человека, который бы не называл его контору «Магазином Санни», хотя никто не помнил, чем именно там Санни торговал три десятка лет тому назад, не меньше.

Он шагал туда сейчас, точнее, вышагивал – у него была походка атлета и оттопыренный зад, – раздумывая об именах. Вне всякого сомнения, размышлял он, у них с сестрой был предок – стройный, гибкий молодой человек, с кожей цвета оникса и ногами как стебли бамбука, и у него было настоящее имя. Имя, выбранное ему при рождении вдумчиво и с любовью. Имя, а не шуточка, не маска и не позорная кличка. Но чем он занимался, этот стройный молодой человек, и по каким краям носили его ноги, подобные стеблям бамбука, никто и никогда не узнает. Не узнает, нет. И не узнает имени его. Что касается родителей Мейкона, они смирились, движимые то ли покорностью, то ли

досадой, с именем, которым их наградил человек, глубоко к этой проблеме равнодушный. Согласились носить и передавать всему дальнейшему потомству замогильное имя, нацарапанное в полнейшей бездумности пьяненьким янки из федеральных войск. Не что иное, как зафиксированная на клочке бумаги описка была вручена его отцу, а тот передал эту описку своему единственному сыну, и точно так же сын передал ее своему. Мейкон Помер, зачавший второго Мейкона Помера, который женился на Руфи Фостер (Помер) и зачал Магдалину, именуемую Линой Помер, и Первое Послание к Коринфянам Помер, и (когда он этого уже никак не ожидал) еще одного Мейкона Помера, ныне известного в соприкасающемся с ними кругу под кличкой Молочник Помер. И словно мало всего этого, имеется еще сестра, называемая Пилат Помер, которая никогда не расскажет брату, при каких обстоятельствах его сын получил свою дурацкую кличку, так как вся эта история, конечно, радует ее. Она просто блаженствует и, может быть, запишет эту кличку на клочке бумаги, положит в медную коробочку и подвесит ее ко второму уху, словно серьгу.

Следуя примеру отца, он всем своим детям, кроме первенца мужского пола, выбрал имена, ткнув наугад пальцем в Библию. И куда уж ткнулось, туда ткнулось, он ничего не менял, досконально зная обстоятельства, при которых получила имя его сестра. Мать их умерла родами, а отец, растерянный, удрученный ее кончиной, водил пальцем по Библии и, так как не умел читать, выбрал слово, которое ему показалось красивым и значительным на вид: ему представилось, что это нечто большое, нечто вроде дерева, которое величественно и покровительственно возвышается над порослью деревьев пониже. Он переписал все эти буквы на клочок коричневой бумаги – переписал, как переписывают все неграмотные люди: каждый изгиб, наклон, завитушку, – и вручил акушерке:

– Так назовем ребенка.

– Вы что, хотите так ее назвать?

– Я хочу назвать так ребенка. Прочитайте это.

– Да нельзя ее так называть.

– Прочитайте.

– Это мужское имя.

– Прочитайте.

– Пилат.

– Как?

– Пилат. Вы написали тут: Пилат.

– Это вроде бы тот, кто пилит?

– Нет. Ничего он не пилит. Пилат, который убил Христа, вот это кто. Уж подыскали имя, хуже не придумаешь. Особенно для девочки.

– Я просил Христа спасти мою жену.

– Думайте о том, что говорите, Мейкон.

– Я просил его всю ночь.

– Он вам послал ребенка.

– Да. Послал. Я назову ее Пилат. Ребенка будут звать Пилат.

– Господи Боже, помилуй нас.

– Вы зачем уносите мою бумажку?

– А ей место там, откуда она изошла. В адском пламени.

– Отдайте ее мне. Она изошла из Библии. В Библии и останется.

И она осталась там, пока девочке не исполнилось двенадцать лет, и тогда она скатала бумажку в крохотный комочек и положила ее в маленькую медную

коробочку, которую стала носить в левом ухе, как серьгу. И если в двенадцать лет ее не волновало полученное благодаря случайности имя, то Мейкон мог предполагать, насколько мало оно волновало ее потом. Зато он знал наверняка: с той же почтительностью, с тем же благоговением, с каким она отнеслась к рождению третьего Мейкона Помера, отнеслась она и к имени, которым он был наречен.

Мейкон Помер помнил: рождение его сына занимало ее, пожалуй, больше, чем рождение собственной дочери и даже дочери этой дочери. Еще долгое время после того, как Руфь оправилась и вновь смогла – не бог весть как – вести хозяйство, Пилат продолжала ходить к ним на кухню в ботинках с распушенными шнурками, в вязаной шапке, низко натянутой на лоб, и с дурацкой серьгой в ухе. От нее всегда чем-то пахло. В последний раз он видел ее, когда ему было шестнадцать, а потом она появилась в их городе примерно за год до рождения его сына. Вела она себя по-родственному, как положено тетке, иногда помогала хозяйничать Руфи и девочкам, но с прохладцей, без умелости и не рвалась эту умелость приобрести. А под конец просто сидела около детской кровати и пела. Ничего особенно плохого в этом не было, только Мейкону врезалось в память выражение ее лица. Оно было удивленное и вдумчивое. И такая напряженная пытливость была написана на нем, что Мейкону становилось не по себе. Хотя нет, дело, наверное, не только в этом. Вероятно, на него действовало, что вот она сидит перед ним через столько лет после того, как они расстались у входа в пещеру, а он до сих пор помнит ее предательство и свой гнев. Как же низко она скатилась! Потеряла всякое представление о порядочности. А ведь когда-то она была для него самым дорогим существом в мире. Сейчас же стала хмурой, чудаковатой и, что хуже всего, неопрятной. Такой дай только волю, и вечно будешь попадать в неловкое положение. Но он не собирался давать ей волю.

Кончилось тем, что он ей запретил появляться у них в доме, пока она не начнет достойнее себя вести. Могла бы подыскать себе приличную работу, а не держать кабак.

– Ты бы хоть одевалась как женщина, – говорил он, стоя у кухонной плиты. – Напялила зачем-то на голову матросский берет. А чулок у тебя просто нет, так, что ли? Хочешь сделать меня посмешищем всего города? – Его бросало в дрожь при мысли, что белые владельцы банка – те, кто помогал ему покупать дома и их закладывать, – вдруг обнаружат, что эта оборванка-бутлегерша его родная сестра. Что у богатого негра, который так умело распоряжается своим

капиталом и живет в большом доме на Недокторской улице, есть сестра, имеющая дочь, но не имеющая мужа, а у этой дочери тоже есть дочь, а мужа нет. Вот семейка, форменные психопатки: гонят спиртное и распевают прямо на улице песни. «Как уличные женщины! Ну прямо как уличные женщины!»

Пилат сидела и слушала, разглядывая его с интересом. Потом сказала:

– А я о тебе тоже очень беспокоюсь, Мейкон.

Вне себя от ярости, он бросился к дверям.

– Убирайся, Пилат. Сию же минуту. Я на пределе, я за себя не ручаюсь.

Пилат встала, завернулась в одеяло, бросила на младенца прощальный нежный взгляд, ушла и больше уж не возвращалась.

Когда Мейкон Помер приблизился к своей конторе, он заметил в нескольких шагах от дверей полную женщину и двух мальчуганов. Мейкон отпер дверь, прошествовал к письменному столу и уселся. Он начал просматривать счетную книгу, когда в комнату вошла поджидавшая его женщина, только уже без детей.

– День добрый, мистер Помер, сэр. Я миссис Бэйнс. Живу в номере третьем на Пятнадцатой улице.

Мейкон Помер помнил – не женщину, а обстоятельства, связанные с номером третьим. Туда въехала то ли бабушка, то ли тетка жилицы и давно уже не вносила квартирную плату.

– Да, миссис Бэйнс. Вы что-нибудь мне принесли?

– Вообще-то я как раз об этом и хотела с вами потолковать. Сенси, понимаете ли, оставила на меня всех ребятишек. А пособия по безработице хватает разве что на то, чтобы дворовую собаку прокормить, да и ту, пожалуй что, придется держать впроголодь.

– Вам нужно ежемесячно платить четыре доллара, миссис Бэйнс. А вы задолжали уже за два месяца.

– Знаю я все это, мистер Помер, сэр, но детишки же не могут ничего не есть.

Разговаривали они тихо, вежливо, отнюдь не сердито.

– А на улице они могут жить, миссис Бэйнс? Именно это им предстоит, если вы не изыщете способ платить мне что положено.

– Нет, они не могут жить па улице, сэр. Им и крыша над головой нужна, и кормить их нужно. Все им нужно. Так же, пожалуй, как и вашим.

– В таком случае будьте пооборотистей, миссис Бэйнс. Даю вам время до... – он круто повернулся, чтобы взглянуть на настенный календарь, – до следующей субботы. Субботы, миссис Бэйнс. Не воскресенья. И не понедельника. До субботы.

Будь она помоложе, сохранись в ней былой задор, у нее разгорелись бы от гнева и глаза, и щеки. Но она уже состарилась, поэтому только глаза ее сердито сверкнули. Она оперлась ладонью о стол и, не спуская с Мейкона тускло мерцающего взгляда, поднялась со стула. Чуть повернула голову, взглянула сквозь витринное стекло на улицу и вновь перевела взгляд па Мейкона.

– Вам-то какой прибыток, мистер Помер, сэр, если вы вышвырнете меня на улицу с детишками?

– До субботы, миссис Бэйнс.

Опустив голову, она что-то прошептала и вышла из конторы, медленно и тяжело ступая. Когда она закрыла за собой дверь, ведущую в «Магазин Санни», внуки ее, стоявшие на солнцепеке, перешли в тень, туда, где остановилась женщина.

– Что он сказал, бабушка?

Миссис Бэйнс положила руку на голову мальчика, что был повыше, и рассеянно перебирала его волосы, нащупывая пятна лишая.

– Он, наверное, сказал нет, – догадался второй мальчик.

– Нам что же, придется съезжать? – Тот, что был повыше, высвободил голову и искоса взглянул на бабуку. Его кошачьи глаза сверкали, как золотые ранки.

Миссис Бэйнс безвольно уронила руку.

– Когда негр занимается бизнесом, это ужас, вот это что. Ужас, просто ужас, вот и все.

Мальчики переглянулись и опять посмотрели на бабуку. Они даже приоткрыли слегка рты, словно слышали нечто очень важное.

Едва за миссис Бэйнс закрылась дверь, Мейкон Помер снова принялся просматривать счетную книгу и, водя пальцем по столбикам цифр, успевал одновременно вспоминать, как он впервые посетил отца Руфи Фостер. В ту пору у него в кармане было только два ключа, и, если бы он давал потачку таким, как та женщина, которая только что ушла, у него и совсем бы ключей не осталось. Если бы не эти два ключа, которые уже тогда лежали у него в кармане, он не посмел бы появиться на Недокторской улице (тогда еще она называлась Докторской) и войти в дом к самому уважаемому негру в городе. Взяться за дверной молоток – он был в виде львиной лапы – и помышлять о браке с докторской дочкой он осмелился лишь потому, что каждый из ключей символизировал принадлежащий ему дом. Без этих ключей он испарился бы при первом же «да?», произнесенном доктором. Или растаял, как свежий воск, под тусклым мерцанием его взгляда. Зато, имея ключи, он вполне мог сказать, что был представлен его дочери, мисс Руфи Фостер, и почтительно просит доктора разрешить им время от времени встречаться. Намерения у него честные, и лично он, несомненно, заслуживает внимания в качестве искателя руки мисс Фостер, поскольку к двадцати пяти годам, к тому же будучи цветным, он приобрел уже собственность.

– Мне о вас ничего не известно, – сказал доктор, – кроме имени, которое мне не нравится, но если дочь испытывает к вам склонность, я не буду противиться.

В действительности доктор знал о нем немало, он просто не считал возможным показать этому высокому молодому человеку, насколько он ему благодарен. Хотя доктор любил свое единственное дитя и после смерти матери она была незаменима в доме, ее обожание в последнее время начинало его все больше сердить. Руфь буквально затопила его своей нежностью; ласковость, когда-то

восхищавшая его в ребенке, в полной мере сохранилась и сейчас. Поцелуй, которым она каждый вечер его награждала, прощаясь на ночь, свидетельствовал и о редкостном терпении доктора, и о незаурядной неповоротливости ее ума. В шестнадцать лет она требовала, как прежде, чтобы он садился к ней на кровать, потом ласкалась к нему и целовала его. То ли умершая жена была для него все еще жива до боли, то ли Руфь уж слишком напоминала мать. А скорей всего, его сердил восторг, каждый раз озарявший лицо Руфи, когда он наклонялся к ней, чтобы поцеловать, – восторг, который он считал неуместным.

Ничего подобного он, разумеется, не стал излагать молодому человеку, явившемуся к нему с визитом. Благодаря этому обстоятельству Мейкон Помер сохранил незыблемую веру в магическую силу ключей.

Тут размышления Мейкона были прерваны: кто-то торопливо барабанил в окно. Он поднял голову, увидел Фредди, заглядывавшего к нему в комнату сквозь золотые буквы, и кивнул, чтобы тот вошел. Фредди, золотозубый, щуплый, в весе петуха, был наилучшим глашатаем города, которого выдвинуло из своих рядов Южное предместье. Точно так же торопливо барабанил он в зеркальное стекло, так же сверкали в улыбке его золотые зубы, когда он выкрикнул слова, ныне известные всем: «Мистер Смит о землю шмякнулся!» Не приходилось сомневаться, что и сейчас Фредди явился с вестями о новом бедствии.

– Портер в стельку напился! Вытащил дробовик!

– А кого он собирается ухлопать? – Мейкон тут же принялся закрывать счетные книги и выдвигать ящики письменного стола. Портер был его жильцом, и как раз на следующий день ему предстояло внести квартирную плату.

– Так чтобы специально – вроде никого. Просто высунулся из чердачного окна и дробовиком размахивает. Говорит, до завтрашнего утра уж кого-нибудь да убьет.

– Он ходил сегодня на работу?

– Ходил. Получил десятку.

– Всю пропил?

– Нет. Купил одну только бутылку, у него еще денег навалом.

– Кто же продал ему спиртное, ненормальный какой-то, что ли?

Фредди ощерил в улыбке золотые зубы, но промолчал, и Мейкон понял: Пилат. Он запер все ящики, кроме одного – этот же, единственный, он отпер и достал оттуда небольшой револьвер 32-го калибра.

– Полиция ведь предупредила всех бутлегеров окрест, и все равно он где-то достает спиртное. – Мейкон все еще продолжал делать вид, будто не знает, что Портер и все остальные – взрослые, дети, собаки – всегда могут купить вино у его же собственной сестры. И он в сотый раз подумал, что ей самое место в тюрьме и он с удовольствием бы засадил ее туда, если бы не опасался, что она опозорит его перед всеми и к нему утратят уважение те, кто служит в суде и в банках.

– Умеете обращаться с этой штукой, мистер Помер, сэр?

– Умею.

– Портер ведь совсем как сумасшедший, когда напьется.

– Знаю я, какой он.

– Как вы хотите до него добраться?

– Я не хочу до него добираться. Добраться я хочу до своих денег. А потом пусть отправляется в пекло, если ему так угодно. Но вот если он сперва не сбросит вниз причитающуюся мне квартирную плату, я его тут же пристрелю.

Фредди хихикнул совсем негромко, но так сверкнул золотыми зубами, что было ясно: он в восторге. Прирожденный лакей, он обожал всякие сплетни. Он был ухом, которое улавливало любой намек на жалобу, любое имя; и глаз его замечал все: тайные взгляды, драки, новые платья.

Мейкон знал, что Фредди дурак и лжец, но лжец надежный. События он всегда излагал верно, искажал лишь обстоятельства, послужившие причиной этих событий. В данном случае, к примеру, он не врал, что Портер схватил ружье и сидит возле чердачного окна, в стельку пьяный. Но вот убивать кого-то там, точней – кого угодно, Портер вовсе не намерен. Мейкон совершенно точно знает, кого Портер собирается убить – себя, но тем не менее уже начал словесную подготовку – орет с чердака во все горло.

– Женщину мне дайте! Пришлите сюда бабу! Слыхали? Сказано вам, пришлите мне кого-нибудь сюда, не то я вышибу себе мозги!

Приближаясь к двору, Мейкон и Фредди слышали, как откликаются на эту просьбу женщины из соседнего меблированного дома:

– А почему будешь платить?

– Ты сперва застрелись, тогда пришлем тебе кого-нибудь.

– Что это тебе так приспичило?

– Больше ты ничего не хочешь?

– Убери свою игрушку и сейчас же сбрось мне вниз квартирную плату, скотина! – Крик Мейкона перекрыл гомон женских голосов. – Переправь мне мои доллары, холера, а потом стреляйся на здоровье.

Портер тут же повернулся к ним и прицелился в Мейкона.

– Если ты уж собрался жать на курок, – крикнул Мейкон, – не дай тебе бог промахнуться. Постарайся уложить меня на месте, а не то я сам пристрелю тебя как собаку! – Тут он вытащил свое оружие. – Отойди от окна, сукин сын, отойди, да побыстрее, слышишь?

Портер колебался лишь одну секунду, затем повернул ружье к себе дулом, вернее, попытался повернуть. Ружье было длинное, что затрудняло его задачу; сам же он был пьян, и это делало задачу невозможной. Он старался повернуть его так, чтобы удобнее было выстрелить под нужным углом, и вдруг отвлекся.

Прислонил ружье к подоконнику, расстегнул брюки и стал мочиться прямо на головы стоящих внизу женщин; те с криком разбежались – дробовик такого ужаса у них не вызвал. Мейкон поскреб в затылке, а Фредди скорчился от смеха.

Больше часа промытарил их Портер: он пригибался, прятался, орал не своим голосом, грозил, мочился и все время требовал себе женщину.

То вдруг его начинали сотрясать горькие рыдания, и он выкрикивал:

– Да ведь люблю я вас! Всех вас люблю! Чего же вы-то со мной так? Бабы! Ну будет вам. Не надо. Неужто вы не видите, я вас люблю. Я помереть за вас готов или кого угробить. Говорю вам, я всех вас люблю. Говорю же вам. Господи, смилуйся надо мною. Ну чего мне делать? Жизнь ты моя распроклятая, ну чего, чего мне дела-а-ать?

По его лицу струились слезы, и он нежно прижимал к себе дуло дробовика, словно это та самая женщина, которую он себе просит, которую разыскивает всю жизнь.

– Боже, пошли мне ненависть, – всхлипывал он. – Ненависть я приму хоть сейчас. Только любви мне больше не посылай. Любви я больше не могу принять, Господи. Я ее не вынесу. Совсем как мистер Смит. Он не смог ее вынести. Больно тяжела она. Уж ты-то знаешь, Иисусе. Ты знаешь о ней все. Тяжела, ведь верно, Иисусе? Верно ведь, любовь тяжела? Неужто ты не видишь, Господи? Собственный твой сын не смог ее вынести. И если уж она его убила, как ты думаешь, что она сотворит со мной? Что? Ну что? – Он снова начинал сердиться.

– Да спускайся ты наконец, зараза! – гаркнул Мейкон все так же громко, но в его голосе звучала усталость.

– А ты, ты недоношенный бабуин. – Портер безуспешно пробовал в него прицелиться. – Ты хуже всех. Вот тебя надо убить, вот тебя-то уж убить надо. Знаешь почему? Ладно, я тебе скажу. Я-то знаю. Все знают...

Бормоча: «Все знают», Портер рухнул на подоконник и тут же уснул. Ружье выскользнуло у него из руки, грохоча покатилося по крыше, ударилося о землю и выстрелило. Пуля чиркнула по ботинку какого-то зеваки и продырявила шину ободранного «Доджа».

– Ступай и принеси мне деньги, – сказал Мейкон.

– Я? – ужаснулся Фредди. – А вдруг он...

– Ступай и принеси мне мои деньги.

Портер громко храпел. Его младенческого сна не потревожили ни выстрел, ни шаривший по его карманам Фредди.

Когда Мейкон вышел со двора, солнце уже скрылось за зданием хлебной компании. Раздраженный, усталый, он шел по Пятнадцатой улице и, проходя мимо одного из своих домов, бросил взгляд на его силуэт, таявший в полусумерках. То здесь, то там на улицах маячили у него за спиной его дома, как призраки с подслеповатыми глазами. Он не любил глядеть на них, когда сгущалась темнота. Днем они внушали ему чувство уверенности, но сейчас казалось, они ему вовсе не принадлежат, чудилось даже, будто дома, вступив между собой в сговор, хотят, чтобы он ощутил себя здесь чужаком, безземельным, неимущим бродягой. Ему стало так сиротливо, что он решил выйти на Недокторскую напрямик, пусть даже для этого надо будет пройти мимо сестрино дома. Становилось все темнее, и он не сомневался, что Пилат его не заметит. Он пересек проходной двор и двинулся вдоль изгороди, упиравшейся в Дарлинг-стрит, где жила Пилат в узком одноэтажном доме, фундамент которого, казалось, не был заложен в землю, а вырастал из нее. В доме не было электричества, так как Пилат не желала за него платить. Газа тоже не было. По вечерам они с дочкой зажигали керосиновые лампы и свечи, стряпали и топили на угле и дровах, воду в кухню перекачивали шлангом из колодца, то есть жили так, будто слова «прогресс» не существует.

Дом стоял немного в глубине, в восьмидесяти футах от тротуара, а за ним росли четыре огромных сосны; иглами с этих сосен Пилат набивала матрасы. Он взглянул на сосны и тут же вспомнил ее рот; в детстве она любила жевать сосновые иглы, и от нее даже тогда пахло лесом. Целых двенадцать лет он относился к ней не как к сестре, а словно к своему ребенку. После того как испустила дыхание мать, Пилат выбралась из ее чрева, не подталкиваемая пульсацией мускулов и быстрым током вод. А в результате живот у нее был гладкий и упругий, как спина, – пупка на нем не было. Отсутствие пупка внушило всем окружающим мысль, что Пилат явилась в этот мир иным путем, чем все прочие люди, что она никогда не лежала, не колыхалась, не росла в чем-

то теплом и жидком, связанная тоненькой трубочкой с телом матери, питающим ее. Мейкон-то знал, что это не так, ведь он во время родов стоял тут же, рядом, он видел глаза акушерки, когда ноги матери вдруг вытянулись и застыли, и он слышал ее крик, когда дитя, как они оба полагали, умершее тоже, выбралось мало-помалу головкой вперед из неподвижной, тихой, теперь ко всему безразличной пещеры – материнской плоти – и вытащило собственную пуповину и послед. Остальное же все правда. Как только отрезали пуповину, то, что от нее осталось, высохло, съежилось и отпало, не оставив следов, и брат-подросток, нянчивший малышку, считал ее живот не более странным, чем безволосую головку. И лишь когда ему исполнилось семнадцать и он безвозвратно расстался с сестрой и пустился уже в погоню за богатством, он понял, что такого живота, как у нее, по всей вероятности, нет больше ни у кого на свете.

Приближаясь к ее дворику, он уповал, что никто из находящихся в доме не увидит его в темноте. Он даже не глядел в сторону дома, поравнявшись с ним. Но тут до его слуха донеслась мелодия. Они пели. Пели все. Пилат, Реба и Агарь, дочь Ребы. На улице ни души; все, наверное, сейчас сидят за ужином, слизывают с пальцев подливку, дуют на блюдечки с кофе и, несомненно, судачат о том, какой номер выкинул сегодня Портер и как бесстрашно его утихомирил Мейкон. В этой части города не было уличных фонарей, только луна освещала путь. Мейкон шел и шел, стараясь не замечать несущиеся вслед ему голоса. Шел он быстро – еще немного, и пения не будет слышно, – как вдруг увидел, словно картинку на обороте почтовой открытки, то, что ожидает его там, куда он так спешит, – свой дом: узкую, упрямую спину жены; дочерей, перекипевших досуха за годы подавляемых надежд; сына, к которому он обращается только тогда, когда нужно что-то приказать или отругать его за что-то. «Здравствуй, папа». – «Здравствуй, сын, заправь рубашку в брюки». – «Я нашел мертвую птичку, папа». – «Не таскай домой всякую дрянь...» Там нет музыки, а ему хотелось в этот вечер чуть-чуть музыки – и услышать ее он мог от сестры, от самого первого существа, предоставленного его заботам.

Он повернулся и медленно зашагал к дому. Оттуда доносилось пение, а запевала Пилат. Сначала слышался ее голос, а два других подхватывали мелодию, вели ее дальше. Ее звучное контральто, потом вторящее ему резкое сопрано Ребы и тихий голос девочки, Агари, которой сейчас, вероятно, лет десять-одиннадцать, тянули его к себе, как магнит притягивает гвоздик.

И, покоряясь звукам мелодии, Мейкон придвигался все ближе. Ему не хотелось, чтобы его заметили, не хотелось ни с кем говорить, ему хотелось только слушать, да, вероятно, еще видеть всех троих – источник этой мелодии, слушая которую он почему-то вспоминал поля, диких индеек, ситцевые платья. Стараясь двигаться бесшумно, он подобрался к крайнему окну, у которого мерцал самый маленький огарок, и украдкой заглянул туда. Реба обрезала ногти на ноге то ли кухонным ножом, то ли перочинным, и ее длинная шея клонилась чуть не до колен. Девочка, Агарь, заплетала косы, а Пилат, стоявшая спиной к окну, что-то помешивала в горшке. По всей вероятности, фруктовую массу, из которой она гонит вино. Мейкон знал: она готовит не еду, ведь в этом доме все питаются как дети. Что захочется, то и едят. Здесь не думают заранее, какую еду приготовить, что сегодня купить в лавке, здесь не накрывают на стол. Да и за стол всей семьей тут никогда не садятся. Испечет Пилат свежего хлеба, вот каждая и отрезает себе по куску, мажет маслом и ест, пока не наестся. Или останется, скажем, виноград, из которого давили вино, или персики, и они только их и едят. А то одна из них купит галлон молока, и они пьют его, пока все не выйдет. Потом другая принесет полбушеля помидоров или дюжину початков кукурузы, и опять же – пока все не выйдет – едят. Едят то, что оказалось в доме, что случайно попало, или то, что вдруг захотелось купить. Все, что давала торговля вином, испарялось, как вода морская под порывами жаркого ветра, – на дешевые украшения для Агари, на подарки, которые Реба дарит своим мужчинам, и еще черт знает на что.

Скрытый темнотой у окна, он ощущал, как его покидает накопившаяся за день раздраженность, и наслаждался безыскусственной красотой женских голосов, звучащих в комнате, освещенной свечами. Нежный профиль Ребы, руки Агари, перебирающие пряди густых волос, и Пилат. Ее лицо он знает лучше, чем свое. Когда она поет, ее лицо как маска: все чувства, все страсти покинули его, влились в голос. Но он знает, что, когда она не разговаривает и не поет, лицо ее оживляют постоянно движущиеся губы. Потому что она вечно что-то жует. И ребенком, и совсем молоденькой девушкой она всегда что-то совала в рот: соломинку от веника, хрящик, пуговицы, зерна, листья, кусочек бечевки и самое любимое – Мейкон специально их для нее добывал – аптечную резинку или ластик. Ее губы постоянно находились в движении. Стоя рядом с ней, никогда не поймешь, то ли она хочет улыбнуться, то ли просто выковыривает языком соломинку, застрявшую между зубами. Перекладывает ли резинку за другую щеку или в самом деле улыбается. Со стороны кажется, она шепчет себе что-то под нос, а на самом деле разгрызает передними зубами какие-то мелкие зерна. Губы у нее темнее кожи – от вина, от сока ежевики, и кажется, она накрутила помаду, намазала губы очень темной помадой, а потом, чтоб не блестели, промокнула

клочком газеты.

Воспоминания и льющая за окном мелодия постепенно успокаивали, смягчали его, а тем временем пение смолкло. Кругом безветренно, тихо, а Мейкону почему-то все не хочется уходить. Ему нравится смотреть вот так на них. Они не сдвинулись с места. Просто перестали петь, и Реба продолжает стричь ногти, Агарь расплетает и заплетает косы, а Пилат помешивает в горшке, покачиваясь, словно ива.

Глава 2

Только Магдалина, именуемая Линой, и Первое Послание к Коринфянам радовались от души, когда большой «Паккард» съезжал, плавно и бесшумно, с подъездной дороги. Из всех, сидевших в машине, только они блаженно замирали, прикасаясь к плюшевым сиденьям. Каждая устраивалась у окна, и ничто не мешало им видеть несущийся навстречу летний день. И каждая была уже достаточно взрослой и в то же время достаточно юной, чтобы поверить, будто они и впрямь едут на королевской колеснице. Устроившись на заднем сиденье, так что Мейкон и Руфь не могли следить за каждым их движением, девочки сбрасывали туфли, спускали чулки и во все глаза глядели на прохожих.

Эти воскресные поездки превратились в ритуал, для Мейкона приятный, а главным образом – важный. Они помогали ему убедиться, что он действительно достиг успеха. Руфь не испытывала столь горделивых чувств, тем не менее и ей хотелось показать людям свое семейство. Малыш же просто маялся. Зажатый между родителями на переднем сиденье, он видел только крылатую женщину на радиаторе. Сидеть во время поездки у матери на руках ему не разрешалось – не потому, что мать не позволяла, а потому, что возражал отец. Только став коленями на обтянутое сизым плюшем сиденье и глядя в заднее оконце, он мог увидеть что-нибудь, кроме рук и ног своих родителей, «Паккарда» и накренившейся навстречу ветру серебряной крылатой женщины на радиаторе. Но он скверно чувствовал себя, когда ехал задом наперед. Словно летишь вслепую и не знаешь, что будет впереди, а знаешь только, что осталось позади, и от этого становится не по себе. Ему не хотелось видеть деревья, мимо которых он уже проехал, видеть, как дети и дома уплывают в оставшееся позади пространство.

«Паккард» Мейкона Помера медленно катил по Недокторской, пересекал плебейскую часть города (известную впоследствии под названием Донорский пункт, ибо там нередко были кровопролития) и, объехав стороной центр, направлялся к кварталам предместья, где жили богатые белые. Кое-кто из чернокожих, увидев машину, с благодушной завистью вздыхал – красота, высокий класс. В 1936 году среди них было мало таких зажиточных, как Мейкон Помер. Другие провожали взглядом катившую мимо семью, чуть-чуть завидуя, но прежде всего забавляясь, потому что этот широченный зеленый «Паккард» противоречил всем их представлениям о том, каким положено быть автомобилю. Мейкон никогда не делал больше двадцати миль в час, никогда не газовал и никогда не вел машину один-два квартала на первой скорости, дабы всласть покрасоваться перед пешеходами. Ни разу у него не лопнула шина, ни разу не вышел в дороге бензин, после чего пришлось бы обращаться к дюжине сияющих оборванных мальчишек с просьбой подтолкнуть машину в гору или подвести к обочине тротуара. Никогда он не привязывал отваливающуюся дверцу веревкой, и ребяташки никогда не вскакивали на подножку его машины, чтобы прокатиться. Сидя за рулем, он никого не окликал, и никто не окликал его. Ему ни разу не случилось вдруг затормозить и дать задний ход, чтобы поболтать и посмеяться с приятелем. В открытых окнах машины никогда не виднелись пивные бутылки и вафельные стаканчики с мороженым. Никогда не выставляли к окну помочиться мальчугашку. И дождь не капал на крышу машины, если Мейкону удавалось этого избежать, а к «Магазину Санни» он ходил пешком – «Паккардом» же пользовался только для парадных выездов. Мало того, люди даже сомневались, сидела ли когда-нибудь хоть одна женщина на заднем сиденье этой машины, а ведь ходили слухи, что Мейкон посещает «нехорошие дома» и что ему случается порой переспать со сговорчивой или одинокой жилицей. А потому сверкающие глаза Магдалины, называемой Линой, и Первого Послания к Коринфянам были единственным проблеском подлинной жизни в унылом и мрачном «Паккарде». Вот люди и прозвали его катафалком Мейкона Помера.

Первое Послание к Коринфянам запустила пальцы себе в волосы и провела ими по голове. Волосы у нее были длинные и пушистые, цвета сырого песка.

– Мы куда-то едем или просто катаемся? – Она внимательно разглядывала из окна прохожих.

– Осторожней, Мейкон. Каждый раз на этом месте ты неправильно поворачиваешь, – раздался справа тихий голос Руфи.

– Может быть, ты поведешь машину? – сказал Мейкон.

– Ты знаешь, я не умею водить.

– Тогда позволь мне самому этим заняться.

– Пожалуйста, только пеняй на себя, если...

Мейкон мягко свернул на левую развилку шоссе, ведущую через центр в одно из фешенебельных предместий.

– Папа! А куда мы едем?

– В Онор, – ответил Мейкон.

Магдалина, именуемая Линой, еще ниже опустила чулки.

– Это на озере? А что там? Там же никого и ничего нет.

– Там загородные участки на берегу. Твой отец хочет взглянуть на них, Лина. – Руфь взяла себя в руки и опять вступила в разговор.

– А зачем? Там только белые живут, – сказала Липа.

– Там не всюду белые живут. Есть и пустые участки. Незастроенные. На той стороне, если проехать немного подальше. Там можно разбить участки для цветных. Построить летние домики. Ты понимаешь, что я имею в виду? – Мейкон взглянул в зеркальце на лицо дочери.

– Но кто там будет жить? Цветные ведь не могут иметь два дома сразу, – возразила Лина.

– Преподобный Коулс может, и доктор Синглтон, – заметила Коринфянам.

– И еще этот адвокат... забыла, как его фамилия? – Руфь поглядела на Коринфянам, но та молчала.

– А еще, наверное, Мэри. – Лина засмеялась. Коринфянам устремила на сестру холодный взгляд.

– Папа не станет продавать участок официантке. Папа, неужели ты позволишь нам жить рядом с официанткой?

– Но если ей принадлежит этот участок, Коринфянам, – сказала Руфь.

– Мне все равно, что ей принадлежит. Кто она такая – вот что важно. Да, папа? – В поисках поддержки Коринфянам повернулась к отцу.

– Ты слишком быстро едешь, Мейкон. – Руфь упиралась носком туфли в пол.

– Если ты не прекратишь учить меня водить машину, то отправишься домой пешком. Я не шучу.

Магдалина, именуемая Линой, наклонилась вперед и положила на плечо матери руку. Руфь молчала. Мальчуган брыкнул ногой.

– Прекрати! – сказал Мейкон.

– Мне нужно в туалет, – ответил сын.

Коринфянам схватилась за голову:

– О господи!

– Но ты же был там, – сказала Руфь.

– Мне нужно! – В его голосе слышались плаксивые нотки.

– Ты уверен? – спросила мать. Он посмотрел на нее. – Пожалуй, придется остановиться, – сказала, ни к кому не обращаясь, Руфь. Она мельком глянула в окно – городские улицы остались позади.

Мейкон ехал, не снижая скорость.

– А себе мы тоже купим участок на берегу или ты просто продаешь землю?

– Я ничего не продаю. Собираюсь купить и сдавать ее в аренду, – ответил дочери Мейкон.

– Ну, а мы сами...

– Мне нужно выйти, – снова перебил малыш.

– ...тоже будем там жить?

– Возможно.

– Одни? Или кто-то еще? – с любопытством спрашивала Коринфиянам.

– Не могу сказать. Но через несколько лет... скажем, лет через пять, а может, десять, многие цветные разбогатеют так, что смогут покупать себе там участки. Многие, попомни мое слово.

Магдалина, именуемая Линой, глубоко вздохнула.

– Вон там можно было бы остановиться, папа. А то он напрудит на сиденье.

Мейкон посмотрел на нее в зеркальце и замедлил ход.

– Кто с ним выйдет? – Руфь нерешительно взялась за ручку двери.

– Только не ты, – сказал ей Мейкон.

Руфь подняла глаза на мужа. Хотела что-то сказать, но промолчала.

– И не я, – это заявила Коринфянам. – У меня туфли на высоких каблуках.

– Пошли, – вздохнула Лина. Они вышли из машины, маленький мальчик и взрослая сестра, и скрылись среди деревьев, которые подступали в этом месте к самому шоссе.

– Так ты в самом деле думаешь, в нашем городе есть много цветных – я говорю о приличных людях, – которые бы захотели купить там участок?

– Им совсем не обязательно жить в нашем городе, Коринфянам. В летний домик можно ездить на машине. Белые всегда так делают. – Мейкон побарабанил пальцами по рулю – он не выключил мотор, и руль слегка подрагивал.

– Негры не любят воду, – хихикнула Коринфянам.

– Полюбят, когда она станет их собственностью, – сказал Мейкон. Он выглянул в окно и увидел, как из-за дерева показалась Магдалина, именуемая Линой. В руке она держала большой и яркий букет цветов, но лицо было сердито насуплено. На подоле ее голубого платья темнели мокрые пятна, похожие на следы от пальцев.

– Он меня обрызгал, – сказала она. – Он меня обрызгал, мама. – Она чуть не плакала.

Руфь сочувственно причмокнула языком. Коринфянам засмеялась:

– Я же говорила, негры не любят воду.

Мальчик сделал это не нарочно. Лина отошла в сторонку и стала рвать цветы, потом вернулась, а он, хотя еще и недоделал, быстро повернулся, услышав у себя за спиной звук шагов. Так уж он привык – он все время был сосредоточен на том, что происходит у него за спиной. Словно будущего для него не было.

Но если будущее так и не объявилось, зато раздвинуло свои пределы настоящее, и малыш, так неуютно чувствовавший себя в «Паккарде», пошел в школу и в

возрасте двенадцати лет встретил мальчика, который не только освободил его от наваждения, но и привел в дом женщины, связанной с его будущим в такой же мере, как и с прошлым.

Гитара сказал, что он ее знает. Даже был у нее в доме.

– Ну и как там? – спросил Молочник.

– Свет... прямо глаза слепит, – сказал Гитара. – Свет и все коричневое. А еще запах.

– Скверный запах?

– Не знаю. Ее запах. Узнаешь сам.

Все невероятные и в то же время вполне правдоподобные истории о сестре его отца, о женщине, к которой отец запретил ему даже подходить близко, вскружили голову обоим мальчуганам. И тому и другому хотелось немедленно, сейчас же все узнать – у них и право есть все выяснить, и причина. Если на то пошло, Гитара с ней знаком, а Молочник – ее племянник.

Она сидела на ступеньке своего дома, широко расставив ноги, одетая в длинное черное платье с длинными рукавами. Голова у нее тоже была повязана чем-то черным, и единственным ярким пятном – они заметили его еще издали – был апельсин, который она чистила. Она вся состояла из острых углов, вспомнил он впоследствии, – колени, локти. Стопа одной ноги нацелена на восток, второй – на запад.

Потом, когда они подошли ближе и смогли разглядеть медную коробочку, прицепленную к мочке ее уха, Молочник понял, что и эта странная серьга, и апельсин, и нелепое черное одеяние так притягивают к ней, что перед этой притягательной силой пасуют и все предостережения, и отцовская мудрость.

Гитара заговорил первым: он был постарше, ходил уже в среднюю школу, и в отличие от приятеля ему не нужно было преодолевать себя и делать над собой усилие.

– Э-эй! – сказал он.

Женщина окинула мальчиков взглядом. Сперва Гитару, потом Молочника.

– Что это за слово ты сказал?

Ее голос звучал мягко, но в то же время что-то как бы постукивало в нем.

Молочник не сводил глаз с ее пальцев, продолжавших чистить апельсин. Гитара усмехнулся и пожал плечами.

– Я хотел сказать: здрасьте.

– Тогда и говори то, что хотел сказать.

– Ладно. Здрасьте.

– Так-то лучше. Что вам нужно?

– Ничего. Мы просто мимо шли.

– Не шли, а пришли – так мне кажется.

– Если вы хотите, чтобы мы ушли, мисс Пилат, мы уйдем, – негромко проговорил Гитара.

– Я-то ничего не хочу. Это вы чего-то хотите.

– Мы хотим спросить у вас про одну вещь. – Гитара сбросил напускное безразличие. Прямота этой женщины требовала и от него, чтобы в разговоре с ней он высказывался определенно и точно.

– Спроси про эту вещь.

– Кто-то сказал, у вас нет пупка.

– Это и есть твой вопрос?

– Да.

– Что-то не похоже на вопрос. Скорей, похоже на ответ. А ты задай вопрос.

– Он есть у вас?

– Что есть?

– Пупок.

– Нету.

– А куда он девался?

– Понятия не имею. – Она сбросила на подол платья оранжевую кожуру и неторопливо отделила одну дольку. – Теперь, может, мой черед задать вопрос?

– Само собой.

– Кто твой приятель?

– Этот-то? Молочник.

– Он умеет разговаривать? – Пилат проглотила кусочек.

– Да, умеет. Скажи что-нибудь. – Не сводя глаз с Пилат, Гитара подтолкнул Молочника локтем.

Молочник глубоко втянул в себя воздух, задержал дыхание и сказал:

– Э-э... эй!

Пилат засмеялась.

– Из всех неповешенных негров вы, наверное, самые тупые. И чему вас только в школе учат? «Э-эй!» кричат овцам и свиньям, когда их куда-то гонят. А если ты человеку говоришь «э-эй!», ему бы надо встать да треснуть тебя хорошенько.

Он вспыхнул от стыда. Вообще-то он ожидал, что ему будет стыдно, но не так, а по-другому: он думал, он сконфузится, конечно, это да, но такое ему в голову не приходило. Ведь все же не он, а она – грязная, уродливая, нищая пьяница. Чудачка тетка, из-за которой его изводили одноклассники и которую он ненавидел, ощущая, что каким-то образом он сам в ответе за ее уродливость, за нищету, за грязь, за пьянство.

И вдруг оказывается, это она насмехается над ним, над его школой и учителями. И хотя у нее в самом деле совершенно нищенский вид, взгляд у нее совсем не такой, как бывает у нищих. И не грязная она вовсе; неряшливая – да, но не грязная. Лунки ногтей как слонобая кость. Кроме того, или он совсем уж ничего не смыслит, или эта женщина абсолютно трезва. Разумеется, красивой ее никак не назовешь, но он чувствовал, что мог бы смотреть на нее целый день: на ее пальцы, обчищающие апельсиновые дольки, на ежевичные губы, словно накрашенные темной помадой, на эту странную серьгу... Женщина встала, и он чуть не вскрикнул. Он увидел, что она ростом с его отца, а он сам глядит на нее снизу вверх и плечи у него гораздо ниже, чем у нее. Платье же ее казалось таким длинным, лишь пока она сидела; на самом деле оно только прикрывало икры, и сейчас, когда она стояла, он видел незашнурованные мужские ботинки и серебристо-коричневую кожу на лодыжках.

Она стала подниматься по ступенькам, прижимая к себе рукой кожуру от апельсина, которую, еще сидя, уронила на подол, и выглядело это так, будто она держится за низ живота.

– Твоему папаше это не понравилось бы. Он тупых не любит. – Тут она посмотрела Молочнику прямо в лицо, одной рукой держась за ручку двери, а другой прижимая к себе кожуру. – Я твоего папашу знаю. И тебя я знаю.

Тут опять подал голос Гитара:

– Вы ему сестра?

– Единственная сестра. На всем белом свете трех Померов не наберется.

И вдруг Молочник, неспособный вымолвить ни слова после своего злосчастного «э-э-эй!», неожиданно для себя закричал:

– Я тоже Помер! И моя мама Помер! И мои сестры! Вы с ним вовсе не единственные!

Но, еще не закончив вопить, удивился, что это на него вдруг накатило, почему он с таким пылом отстаивает свое право на эту фамилию. Он всегда терпеть ее не мог, а до того, как подружился с Гитарой, терпеть не мог и свою кличку. Но в устах Гитары она зазвучала как-то осмысленно, по-взрослому. А вот сейчас, разговаривая с этой странной женщиной, он так разволновался, словно он бог, ведь как гордится своей фамилией, словно Пилат вознамерилась изгнать его из узкого круга избранных, принадлежать к которому не только его право, но и особая, законнейшая привилегия.

Едва умолкли его вопли и наступила тишина, как Пилат засмеялась.

– Хотите, я сварю вам яйца всмятку? – спросила она мальчиков.

Они переглянулись. Она сразу переключила их на другой ритм. Яиц они не хотели, зато хотели здесь остаться, войти в дом, где гонит вино эта женщина с одной серьгой, без пупка и похожая на высокое черное дерево.

– Нет, спасибо, нам бы только водички напиться, – улыбаясь, ответил Гитара.

– Ладно, заходите.

Она распахнула дверь, и они вошли вслед за ней в большую солнечную комнату, которая в одно и то же время казалась и захлавленной, и пустой. С потолка свисал мшисто-зеленый мешок. Повсюду свечи, вставленные в бутылки; к стенам приколоты кнопками вырезанные из журналов картинки и газетные статьи. Но обстановки никакой – только кресло-качалка, два стула с прямыми спинками, большой стол, раковина и печка. И все вокруг пропитано смолистым запахом хвои и перебродивших фруктов.

– Я вам все-таки сварю по штучке. Я хорошо варю их, как раз как надо. Белок должен быть твердоватым, ясно? А желток – мягким, но ни в коем случае не

жидким. Когда в самый раз, он будто влажный бархат. Нет, попробуйте, правда, от вас не убудет.

Кожуру от апельсина она бросила в большой горшок, который, как почти все в этом доме, служил совсем не для той цели, для какой был поначалу предназначен. Потом подошла к раковине и стала наливать воду в синюю с белым узором миску, употребляемую вместо кастрюли.

– Значит, вода и яйцо должны встретиться между собой как бы на равных. Ни той, ни другому никаких преимуществ. Совершенно одинаковая температура. Сейчас я холодную воду чуть подогрею, а согревать не буду. Теплая вода мне ни к чему, ведь яйца-то комнатной температуры. Ну, а самый главный секрет – как кипятить. Когда с доньшка начнут подниматься маленькие пузырьки, с горошинку величиной, сразу же снимай кастрюлю, пока они не стали как мраморные шарики. Улови этот момент и снимай ее с огня. Только надо не огонь гасить, а снять кастрюлю. А потом накрой кастрюлю сложенной газетой и делай что-нибудь, что много времени не занимает. Ну, пойдешь, скажем, отопри дверь или выбрось мусор на помойку, а потом внеси ведро с переднего крыльца. Я обычно хожу в туалет. Только долго не сижу там, заметьте. Справлю малую нужду, вот и все. И если сделаете все в точности, как я рассказала, у вас получатся самые замечательные яйца всмятку.

Помню, никудышная я была стряпуха, когда готовила нашему отцу. Ну, а твой отец, – она ткнула большим пальцем в сторону Молочника, – совсем готовить не умел. Я как-то испекла ему сладкий пирог с вишнями, а верней, попробовала испечь. Мейкон был очень хороший мальчик и ко мне прекрасно относился. Жаль, что ты не знал его тогда. Он стал бы тебе другом, настоящим добрым другом, таким, каким был для меня.

Слушая ее голос, Молочник представлял себе гальку. Маленькие кругленькие камешки, которые ударяются друг о друга, подхваченные волной. То ли говорила она хриловато, то ли как-то по-особенному произносила слова – и протяжно, и в то же время отрывисто. Смешанный хвойно-винный дух дурманил, как наркотик, дурманило и солнце, мощные потоки которого вливались в комнату без всяких преград, потому что на окнах не было ни штор, ни занавесок, окон же было множество – на каждой из трех стен по две штуки: по окну справа и слева от двери, по окну справа и слева от раковины и печки и два окошка в противоположной от двери стене. За четвертой стеной у них, наверное, спальня, подумал Молочник. От голоса, похожего на позвякивание гальки, от солнца, от

дурманящего запаха вина мальчиков разморило, и они сидели в блаженном полубабытии и слушали, а она все говорила, говорила...

– Если бы не твой папаша, я бы не стояла сейчас тут. Умерла бы в чреве матери. И еще раз умерла бы – потом, в лесу. Этот лес да непроглядная тьма наверняка бы меня убили. Но он спас меня, и вот, пожалуйста, разговариваю с вами, яйца варю. Наш папа умер, вот ведь что. Бабахнули, и он взлетел в воздух на пять футов вверх. Он сидел на своем заборе, их дожидался, а они подкрались сзади, и он взлетел на пять футов вверх. Мы немного пожили в большом доме у Цирцеи, а потом нам некуда было идти, и мы пошли себе куда глаза глядят, и стали жить в лесу. Городов там нет, одни фермы. Но однажды папа возвратился к нам. Мы его сперва не узнали, ведь мы оба видели, как он в воздух взлетел. Мы тогда заблудились. Темнотища – ужас! Вы думаете, темнота всегда одного цвета, нет, куда там! Черный цвет – он разный. Можно пять, шесть видов его насчитать. Бывает шелковистый, а бывает вроде бы шерстистый. Бывает просто пустой. А еще бывает как пальцы. И все время разный. Чернота смещается, меняется. Назвать что-то черным – все равно как что-то назвать зеленым. Зеленый, говорят... а какой зеленый? Зеленый, как мои бутылки? Зеленый, как кузнечик? Зеленый, как огурец, как салат, или зеленый, как небо перед бурей? Так вот, с темнотой ночью точно так же обстоят дела. И то же самое с радугой.

Значит, заблудились мы, и ветер воет вовсю, и впереди маячит спина нашего папы. А мы дети, перепуганные дети. Мейкон все твердил мне, мол, мы боимся того, чего на самом деле не существует. А какая разница, существует то, чего мы боимся, или нет? Помню, как-то я стирала для мужа с женой, а было это в Виргинии. И вот однажды входит муж на кухню, весь дрожит и спрашивает, не сварила ли я кофе. Я говорю, что это вас так скрутило, уж больно вид у вас скверный, а он говорит, что и сам, мол, ничего не поймет, только ему почему-то кажется, что он вот-вот упадет со скалы. А под ногами у него линолеум, желтый, белый и красный, ровнехонький и гладкий, как утюг. Он сперва за дверь цеплялся, потом за стул, все старался не упасть. Я уж было чуть не брякнула, мол, нет никаких скал на кухне. И тут вдруг вспомнила, как мы шли по лесу тогда. Я как бы заново все это почувствовала. И спросила, может, его поддержать, чтобы не упал? А он посмотрел на меня с такой благодарностью. «Вот спасибо вам», – говорит. Я подошла к нему, обхватила руками, сцепила пальцы у него на груди и держала крепко-крепко. Сердце колотилось у него под жилеткой, как брыкается измученный зноем мул. Но успокоилось мало-помалу.

– Вы спасли ему жизнь, – сказал Гитара.

- Ничего подобного. Он не успел еще в себя прийти, как в кухню вошла его жена. Она меня спросила, что я делаю, а я ответила.
- Ответили... что? Что вы сказали ей?
- Сказала правду. Мол, я его держу, чтобы он не упал со скалы.
- Голову наотрез, ему тут самому захотелось спрыгнуть с этой скалы. Быть того не может, чтобы его жена вам поверила.
- Сначала нет. Но как только я разжала руки, он рухнул на пол. Очки вдребезги, лицо разбил. Он ничком упал, прямо в пол лицом. И вот что я скажу вам. Падал он медленно, долго. Даю слово. Три минуты, целых три минуты ушло на то, чтобы человек свалился на тот самый пол, что был у него под ногами. Не знаю уж, была ли там скала, но он целых три минуты с нее падал.
- Он умер? - спросил Гитара.
- Сразу же дух вон.
- Кто застрелил вашего отца? Вы ведь сказали, его кто-то застрелил? - Глаза мальчика горели любопытством.
- Да, он взлетел на пять футов вверх...
- Кто в него стрелял?
- Кто - я не знаю, и почему - не знаю. Знаю только то, что вам сказала: что, где, когда.
- Вы не сказали где, - не отставал Гитара.
- Нет, сказала. На заборе.
- А где был забор?

– На нашей ферме.

Гитара расхохотался, но его сверкающие глаза особого веселья не выражали.

– А где была ферма?

– В округе Монтур.

Вопросы по поводу «где?» исчерпались.

– Ну ладно, а когда?

– Когда он там сидел, на том заборе.

Гитара почувствовал то же, что чувствует сыщик, все усилия которого потерпели крах.

– В каком году это было?

– В том самом году, когда прямо на улицах стреляли ирландцев. Револьверы поработали неплохо в том году, и могильщики тоже, это уж точно. – Пилат положила на стол крышку от бочонка. Потом вынула из миски яйца и принялась счищать с них скорлупу. Губы ее шевелились: она передвигала языком во рту апельсиновое зернышко. И только очистив яйца и разломив их, так что мальчики смогли убедиться: оранжевая сердцевинка и в самом деле была как влажный бархат, – Пилат продолжала рассказ. – Как-то утром мы проснулись, когда солнце прошло примерно четверть своего пути по небу. До чего же солнце было яркое. А небо – голубое. Как ленты на маминой шляпке. Видите ту полосу в небе? – Она указала в окно. – Вон там, за ореховыми деревьями. Видите? Прямо над ними.

Они глянули в окно и увидели за домами и деревьями полосу уходящего вдаль неба.

– Такой же цвет, – сказала она, будто сделав очень важное открытие. – Точно такого же цвета были ленты на маминой шляпке. Я запомнила эти ленты на всю жизнь. А вот как ее звали, не знаю. Когда мама умерла, папа никому не позволял

называть вслух ее имя. Так вот, выстрел, значит, глаза нам запорошило песком, и не успели мы их протереть и хорошенько оглядеться, как видим, он сидит на пне. Сидит себе прямо на солнышке. Мы давай кричать да звать его, а он как-то мимо глядит, словно смотрит он на нас и в то же время не смотрит. И в лице у него что-то этакое, прямо жуть берет. Словно под водой его лицо, так оно выглядит. А потом немного погодя встает наш папа и уходит в тень и дальше в лес идет. И мы стоим и на тот пенек глядим. И дрожим, как листья на ветру.

Пилат неторопливо собирала в кучку яичную скорлупу, осторожно сгребая ее растопыренными пальцами. Мальчики напряженно замерли: они боялись сбить ее неосторожным словом и боялись все время молчать – а вдруг она перестанет рассказывать дальше.

– Как листья на ветру, – пробормотала она, – совсем как листья.

Внезапно она встрепенулась, и у нее вырвался крик, напоминавший уханье совы:

– У-у-у! Иду, сейчас иду.

Ни Молочник, ни Гитара не слышали, что к дому кто-то подошел, но Пилат уже вскочила и бросилась к двери. Не успела она до нее добежать, как кто-то распахнул ее ударом ноги, и Молочник увидел согнутую девичью спину. Девушка тащила, ухватившись за край, большую, на пять бушелей, корзину, наполненную ягодами, похожими на ежевику, а какая-то женщина подталкивала корзину с другой стороны, приговаривая: «Осторожно, детка, тут порожек».

– Все уже, – ответила ей девушка. – Толкай.

– Самое время, – сказала Пилат. – Вот-вот стемнеет.

– У Томми грузовик сломался, – тяжело дыша, пояснила девушка. Когда они наконец втащили в комнату корзину, девушка выпрямилась и повернулась к ним лицом. Но Молочнику совсем не обязательно было видеть ее лицо: он влюбился в нее, еще когда она стояла к нему спиной.

– Агарь, – Пилат обвела взглядом комнату, – это Молочник, твой брат. А это его друг. Как тебя звать-то, красавец?

– Гитара.

– Любишь, что ли, на гитаре играть?

– Он ей вовсе не брат, мама. Они двоюродные, – сказала женщина, толкавшая корзину.

– Это все равно.

– Совсем не все равно. Верно, детка?

– Верно, – сказала Агарь. – Есть разница.

– Вот видишь. Разница есть.

– А какая же разница, Реба? Ты у нас все знаешь.

Реба посмотрела в потолок:

– Брат называется братом, если у вас обоих одна и та же мать или если оба вы...

Тут Пилат ее перебила:

– Я спрашиваю, есть ли разница в том, как ты относишься к родным и к двоюродным? Разве ты не одинаково к ним относишься?

– Не в этом дело, мама.

– Замолчи, Реба. Я говорю с Агарью.

– Верно, мама. И к родным и к двоюродным нужно относиться одинаково.

– Ну а тогда зачем понадобилось их неодинаково называть, если никакой разницы нет? – Реба подбоченилась и сделала большие глаза.

– Пододвиньте-ка сюда качалку, – сказала Пилат. – Если хотите помочь нам, мальчики, вам придется встать с места.

Женщины волоком подтащили на середину комнаты корзину, полную коротеньких колючих веточек ежевики.

– Что нужно делать? – спросил Гитара.

– Оборвать с этих проклятых веток ягодки и постараться их не раздавить. Реба, давай сюда второй чугунок.

Агарь, пышноволосая, с огромными глазами, оглядела комнату.

– Может, внести сюда кровать из спальни? Тогда мы все усядемся.

– Для меня и пол сгодится, – заметила Пилат и, присев на корточки, осторожно вытащила веточку из корзины. – Это все, что вы раздобыли?

– Нет, не все. – Реба катила по полу огромный чугунок. – Там еще две корзины во дворе остались.

– Внесли бы вы их в комнату. А то мухи налетят.

Агарь направилась к двери, махнув Молочнику рукой:

– Пойдем, братик. Ты мне поможешь.

Молочник вскочил со стула, опрокинув его, и кинулся вслед за Агарью. Ему казалось, он никогда еще не видел такой красавицы. Она намного, очень намного старше его. Она, наверное, ровесница Гитары, а может, ей уже и все семнадцать. Ему казалось, будто он парит. Буквально парит в воздухе – он никогда еще не был таким оживленным. Вдвоем с Агарью они втащили обе корзины по ступенькам крыльца, а затем в комнату. Девушка была такая же крепкая и сильная, как он.

– Осторожно, Гитара. Не торопись. Ты их все время давишь пальцами.

– Оставь его в покое, Реба. Пусть он сперва приноврится. Я тебя спрашивала, любишь ли ты на гитаре играть. Тебя поэтому прозвали Гитарой?

– Нет, играть я не умею. Я научиться хотел. Когда был еще маленьким-маленьким. Мне про это рассказали потом.

– А где ты ее увидел, гитару?

– В одном магазине был объявлен такой приз, еще когда я жил во Флориде. Мать пошла раз в город и меня с собой взяла. Я был совсем малышом. Там и устроили состязание, вы, верно, знаете, когда нужно угадать, сколько горошинок в большой стеклянной банке, и за это выиграешь гитару. Ох, разревелся я тогда, просто ужас, говорят. И потом все время ее требовал.

– Тебе бы нашу Ребу попросить. Получил бы свою гитару.

– Нет, ее нельзя было купить. Надо было угадать, сколько горошин в банке.

– Слышу, слышала уже. Реба и сказала бы тебе, сколько горошин. Реба всегда выигрывает. Ей еще ни разу не случилось проиграть.

– В самом деле? – Гитара заулыбался, хотя и недоверчиво. – Везет ей, значит?

– Еще как везет, – усмехнулась Реба. – Ко мне откуда только не приходят попросить, чтобы вытащила за кого-нибудь лотерейный билет или сказала, на какой номер поставить. Люди часто выигрывают по моим подсказкам, а я вообще всегда. Если захочу что-нибудь выиграть, выиграю непременно, и еще многое, чего и выиграть-то не хочу.

Словом, дошло до того, что ей теперь совсем не продают лотерейных билетов. Только просят: потяни вместо меня.

– Это видел? – Реба сунула руку за вырез платья и вытащила привязанное к шнурку бриллиантовое кольцо. – Я его выиграла в прошлом году. Я была... как это говорится, мама?

– Пятисоттысячная.

– Пятьсот... нет, не так. Они мне как-то по-другому сказали.

– Полмиллионная – вот как они сказали.

– Правильно. Полмиллионный покупатель, который зашел в магазин Сирса и Робака. – Она захохотала, весело и гордо.

– Ей не хотели его отдавать, – вмешалась Агарь, – вид у нее неподходящий.

Гитара удивился:

– Я помню, как присуждали этот приз, но, хоть убейте, я ни звука не слышал, что его выиграла цветная женщина. – Он шатался по улицам целые дни напролет и был уверен, что ему известны все городские события.

– Никто этого не слышал. Они все ждали, и фотографы уж были наготове, когда в дверь следующий войдет, кому приз получать. Только фотографию мою так и не напечатали в газете. На ней я была, а сзади еще мама глядит, верно? – Как бы ожидая подтверждения, она взглянула на Пилат и продолжала: – Напечатали они фотографию человека, которому дали второй приз. Он выиграл облигацию военного займа. Он был белый.

– Второй приз? – переспросил Гитара. – Как это – второй? Тут одно из двух: или ты полмиллионный, или нет. Не может же выиграть следующий за полмиллионным.

– Может – если это Реба, – сказала Агарь. – Они только потому и придумали второй приз, что Реба оказалась первой. А кольцо ей дали только потому, что ее успели сфотографировать.

– Расскажи-ка им, как ты попала в магазин Сирса, Реба.

– Уборную искала. – Реба запрокинула голову, чтобы отсмеяться всласть. Ее руки были вымазаны соком ежевики, а утирая выступившие от смеха слезы, она оставила красные полосы на щеках. Реба была гораздо светлее, чем Пилат и Агарь, с бесхитростными ребячьими глазами. Собственно, все они выглядели простодушными, все три, но в лицах Пилат и Агари угадывалась какая-то

значительность, сложность. И лишь уступчивая, ласковая Реба с прыщеватой светлой кожей выглядела так, словно ее простодушие, возможно, всего лишь пустота.

– В центре города есть только две уборные, куда пускают цветных: в ресторане «Мейфлауэр» и у Сирса. Сирс оказался поближе. Хорошо еще, мне не очень приспичило. Они меня продержали целых пятнадцать минут, записывали, как зовут да какой адрес, чтобы прислать это кольцо. А я совсем не хотела, чтобы они мне его присылали. Я все допытывалась: я на самом деле выиграла приз, по всем правилам? Я вам не верю, говорю.

– Право, стоило пожертвовать бриллиантовым кольцом, чтобы только от тебя избавиться. Ты там целую толпу собрала и, наверное, целый рой мух, – сказала Агарь.

– А что вы сделаете с этим кольцом? – спросил Молочник.

– Буду носить. Не часто мне удастся выиграть такую штучку.

– Она все, что выиграет, все отдает, – сказала Агарь.

– Мужчинам... – добавила Пилат. – Ничего себе не оставляет...

– Только такой приз и хочется ей выиграть – мужчину...

– Прямо Санта-Клаус... Вечно всем подарки раздает.

– Если человеку везет по-дурацки, это даже и не везенье, а черт знает что...

– Санта-Клаус-то всего раз в год приходит...

Станный получался разговор: и Агарь, и Пилат каждой новой репликой как бы дергали его нить в свою сторону, обращаясь главным образом к себе – не к Молочнику, и не к Гитаре, и даже не к Ребе, которая снова опустила кольцо в вырез платья и, тихо улыбаясь, проворно снимала с веточек темно-лиловые ягоды.

Молочник, который к этой поре достиг пяти футов семи дюймов роста, сейчас впервые в жизни ощутил, что он по-настоящему счастлив. С ним вместе друг – мальчик старше его, – умный, добрый и бесстрашный. Он сидит себе как дома в питейном заведении, пользующемся весьма печальной славой, окруженный женщинами, которым, судя по всему, доставляет удовольствие его общество и которые громко смеются. При этом он влюблен. Неудивительно, что отец их боялся.

– Когда будет готово это вино? – спросил он.

– Эта порция? Через несколько недель, – ответила Пилат.

– А нам попробовать дадите? – улыбнулся Гитара.

– Отчего же? Хоть сейчас. В погребе полно вина.

– Того вина я не хочу. Я этого хочу попробовать, которое я сделал сам.

– Ты считаешь, ты его сделал? – расхохоталась Пилат. – Считаешь, это уже все? Оборвать несколько ягодок с ветки?

– О-ой, – Гитара почесал в затылке, – я совсем забыл. Их еще нужно будет топтать босыми ногами.

– Ногами? – возмутилась Пилат. – Кто это делает вино ногами?

– Наверное, вкусно получается, мама, – сказала Агарь.

– А я думаю, гадость жуткая, – сказала Реба.

– А у вас хорошее вино, Пилат? – спросил Гитара.

– Чего не знаю, того не знаю.

– Это как же?

– Никогда его не пробовала.

Молочник засмеялся.

– Продаете вино, а сами его даже не пробовали?

– Люди покупают вино не для того, чтобы его пробовать. Покупают, чтобы напиться.

– По крайней мере раньше покупали, – кивнула Реба. – Сейчас уж никто не берет.

– Кому она нужна, наша самогонка. Кризис-то кончился, – сказала Агарь. – Теперь у всех есть работа. Денег хватает, можно купить «Четыре розы».

– Многие и сейчас покупают, – возразила ей Пилат.

– А сахар где вы достаете? – поинтересовался Гитара.

– На черном рынке, – ответила Реба.

– Какие «многие»? Ты, мама, уж не сочиняй. Если бы Реба не выиграла эти сто фунтов бакалейных товаров, мы бы с голоду померли прошлой зимой.

– Не померли бы. – Пилат сунула в рот новую веточку.

– Еще как бы померли.

– Агарь, не надо спорить с мамой, – шепотом сказала Реба.

– Кто бы накормил нас? – не унималась Агарь. – Мама может прожить без еды несколько месяцев. Как ящерица.

– Ящерица так долго живет без еды? – спросила Реба.

– Что ты, девочка, никто не собирается морить тебя голодом. Разве ты когда-нибудь бывала голодной? – тревожно спрашивала внучку Пилат.

– Конечно, нет, – ответила вместо дочери Реба.

Агарь бросила еще одну веточку в кучку лежащих на полу общипанных веток и потерла пальцы. Их кончики были багрового цвета.

– Да, иногда я бывала голодной.

Пилат и Реба с быстротою птиц вскинули головы. Они всматривались некоторое время в лицо Агари, затем переглянулись.

– Деточка, – проговорила Реба очень тихо. – Ты была голодной, детка? Почему же ты нам не сказала? – Она жалобно смотрела на дочь. – Мы приносили тебе все, что ты хотела, детка. Все, что ты хотела. Ты ведь знаешь это и сама.

Пилат выплюнула веточку на ладонь. Лицо ее застыло в неподвижности. Сейчас, когда губы перестали наконец шевелиться, ее лицо напоминало маску. Будто кто-то вдруг выключил свет, подумал Молочник. Он всмотрелся в лица всех трех женщин. Лицо Ребы сморщилось. По щекам струились слезы. Неподвижное, как смерть, лицо Пилат выражало в то же время напряженность, словно в ожидании какого-то знака. Пышные волосы прятали профиль Агари. Она сидела, наклонясь вперед, прижав локти к бедрам и потирая пальцы, которые в наступающих сумерках казались вымазанными в крови. У нее были очень длинные ногти.

Молчание затянулось. Прервать его не рисковал даже Гитара.

Потом Пилат сказала:

– Реба. Она не про еду.

Как видно, Реба сперва не поняла, потом лицо ее медленно прояснилось, но она ничего не сказала. Пилат снова принялась обрывать ягоды, тихонько что-то про себя напевая. Вскоре Реба присоединилась к ней, и какое-то время они напевали вместе в унисон друг другу, а затем Пилат запела:

О, Сладкий мой, не покидай меня,

Боюсь я в хлопке задохнуться,

О, Сладкий мой, не покидай меня,
Вдруг руки Бакры на мне сомкнутся...

Когда обе женщины запели хором, Агарь подняла голову и тоже запела:

О, Сладкий мой, ты улетел,
О, Сладкий мой, уплыл, ушел,
О, Сладкий мой, небо пронзил,
Сладкий ты мой, уплыл домой.

У Молочника перехватило дыхание. Голос Агари подхватил и унес те обломки сердца, которые он мог до этого мгновения еще назвать своими. И когда ему показалось, что он теряет сознание, раздавленный бременем чувств, он робко покосился на приятеля и увидел, как лучи заходящего солнца золотят глаза Гитары, оставляя в тени лукавую полуулыбку.

Восхитительные события этого дня приводили еще в больший восторг Молочника, оттого что им сопутствовала таинственность и ощущение собственной дерзости; впрочем, и таинственность, и дерзость испарились спустя час – после того как домой возвратился отец. Фредди известил Мейкона Помера, что его сын «нынче пьянствовал в питейном заведении».

– Врет он! Мы ничего не пили! Ничего. Гитара попросил стакан воды, но и воды ему тоже не дали.

– Фредди никогда не лжет. Он искажает факты, но не лжет.

– Нет, он тебе наврал.

– Насчет того, что вы там пьянствовали? Возможно. Но вы ведь были там, это правда, да?

– Да, сэр. Это правда. – Молочник взял тоном ниже, но что-то в его голосе еще напоминало о недавнем мятеже.

– А что тебе было велено?

– Ты мне сказал, чтобы я не смел туда ходить и разговаривать с Пилат.

– Верно.

– Но ты не объяснил мне почему. Они наши родственники. Пилат – твоя родная сестра.

– А ты мой родной сын. И будешь делать то, что я тебе велю. С объяснениями или без объяснений. Пока я тебя кормлю, ты будешь делать то, что тебе сказано.

В пятьдесят два года Мейкон Помер выглядел не менее внушительно, чем десять лет назад, когда Молочник считал, что выше и крупнее его папы не существует ничего на свете. Даже дом, в котором они жили, казалось ему, был меньших размеров. Но сегодня он встретил женщину, такую же высокую, и, стоя рядом с ней, почувствовал, что он и сам высок.

– Я понимаю, я самый младший в семье, но я все же не грудной младенец. А ты со мной обращаешься будто с младенцем, твердишь все время, что не обязан мне ничего объяснять. И чего ты этим добился, как ты думаешь? Что я чувствую себя младенцем, вот и все. Двенадцатилетний младенец!

– Не смей на меня кричать.

– Твой отец разве так с тобой обращался, когда тебе было двенадцать?

– Придержи язык! – рявкнул Мейкон и вынул руки из карманов. Но он не знал, что делать дальше. Его обескуражил заданный сыном вопрос. Сразу все переменилось. Он представил на месте Молочника себя в свои двенадцать лет и с необыкновенной остротой и живостью вдруг вспомнил, какое чувство он испытывал к отцу. И то, как он оцепенел, когда человек, которого он любил, которым восхищался, рухнул с забора на землю, и пронзившую его страшную боль, когда глядел, как тело отца дергается в предсмертных судорогах. На этом сделанном из железных прутьев заборе отец просидел пять ночей, сжимая в руках ружье, и умер, защищая свою собственность. Чувствует ли этот мальчик что-нибудь подобное к нему? Может быть, пора рассказать ему?

– Ты не ответил – он так с тобой обращался?

– Я все время работал рядом с отцом. Все время рядом с ним. Лет с четырех, с пяти я уже вместе с ним работал. Мы вдвоем, и больше никого. Мать умерла. Скончалась от родов, когда родилась Пилат. Мы остались с малышкой на руках. Относили ее до вечера к соседям на ферму. Я сам и таскал ее каждое утро туда. Отнесу и возвращаюсь к отцу полем. Впряжем, бывало, Президента Линкольна в плуг... Мы так называли нашу лошадь: Президент Линкольн. Отец говорил, Линкольн был хорошим пахарем, прежде чем стал президентом, а хороших пахарей не следует от дела отрывать. «Райская обитель Линкольна» – так называл он нашу ферму. Участок-то у нас был невелик. Но мне он в ту пору казался громадным. Это я сейчас прикидываю, что не так уж много было там земли, примерно сто пятьдесят акров. Мы запахивали пятьдесят. Акрів восемьдесят леса – дуб, сосна... вообще-то целое богатство; я думаю, они на это и польстились – дуб, сосна, отличный лес. Пруд был, занимал четыре акра. И ручей, а рыбы в нем полно. Как раз посередине долины. Гора была неопиcуемой красоты, называлась Хребет Монтур. Мы жили в округе Монтур. Это сразу за Саскуэханной. Был свинарник, мы держали четырех свиней. Большой амбар, сорок футов на сто сорок... с шатровой крышей, между прочим. А в горах кругом олени, дикие индюшки. Счита́й, ты в жизни ничего не пробовал, если тебе не довелось отведать зажаренной твоим дедом индюшки. Он обжаривал ее на сильном огне. Всю сплошь, дочерна, в один миг. Она сразу покрывалась корочкой, поэтому сок сохранялся, он оставался внутри. А потом целые сутки жарил ее потихонечку на вертеле. Срежешь, бывало, эту черную корку, а под ней мясо, нежное, вкусное, сочное. Был у нас на ферме и фруктовый сад. Яблоки, вишни. Пилат один раз попыталась испечь мне вишневый пирог.

Мейкон замолчал, он даже улыбался. Вот уж много лет он ни с кем не говорил об этой ферме. Даже вспоминал о ней редко в последнее время. Когда он только женился на Руфи, он часто рассказывал ей о «Райской обители Линкольна». По вечерам, когда, покачиваясь на качелях, они вдвоем сидели на веранде, Мейкон заново воссоздавал эту землю, владельцем которой он должен был стать. А когда он только еще начал покупать дома, он порою застревал в парикмахерской поболтать о том о сем с другими посетителями. Но давно уже отошли в прошлое все эти разговоры, да и воспоминания тоже. И вот сейчас он вновь вернулся к ним, он рассказывает о ферме сыну, и в памяти четко всплывает все до мелочей: колодец, яблоневый сад, Президент Линкольн, их лошадь, Мэри Тодд – ее дочка, Улисс С. Грант[3 - Грант Улисс Симпсон (1822–1885) – в Гражданскую войну в США 1861–1865 гг. главнокомандующий армией Севера.] – корова, Генерал Ли[4 - Ли Роберт Эдуард (1807–1870) – в

Гражданскую войну в США главнокомандующий армией южан.] – свинья. Только так он узнавал тогда историю. Отец не умел ни читать, ни писать; все, что ему было известно, он либо увидел собственными глазами, либо от людей услышал. И все же даже таким образом в сознание Мейкона врезались сведения о некоторых исторических лицах, и, читая потом о них в школьном учебнике, мальчик представлял себе лошадь, свинью. Отец-то, вероятно, в шутку назвал лошадь Президентом Линкольном, зато Мейкон навсегда проникся к Линкольну симпатией, ведь он полюбил его еще лошадью, трудолюбивой, ласковой и послушной. Ему нравился даже Генерал Ли, так как однажды весной они зарезали его и целых восемь месяцев ели отличную свинину, лучше которой не найдешь во всей Виргинии, «и окорок, и корейку, и грудинку, и колбасу, и ножки, и хвостик, и зельц». И даже в ноябре еще доедали хрустящие поджаристые шкварки.

– Генерал Ли вполне устраивал меня, – улыбаясь, говорил он Молочнику. – Замечательный был генерал. Что ни попробуешь, все вкусно. Цирцея как-то приготовила сычуг. М-м, пальчики оближешь. А я вот даже забыл, как ее звали! Теперь вот только вспомнил. Она работала на большой ферме у каких-то белых в Данвилле, Пенсильвания. Интересно, как все можно позабыть. Забудешь и годами ничего не вспоминаешь. А потом вдруг, как сейчас, раз – и опять все перед тобой. Собачьи бега у нас устраивали, представляешь? Очень этим увлекались. Чья собака прибежит раньше. Белые любят своих собак. Негра он пристрелит и спокойноенько тут же на месте будет волосы расческой приглаживать. А собака помрет – плачут, взрослые люди плачут, сам видел.

Как-то по-иному звучал теперь его голос. Мягче, да и сама речь переменилась. В ней появилось нечто южное, приглушенное, уютное. И Молочник спросил так же приглушенно:

– Пилат сказала, вашего отца кто-то застрелил. Говорит, он взлетел на пять футов вверх в воздух.

– У него шестнадцать лет ушло на то, чтобы ферма стала приносить доход. Там сейчас везде молочные хозяйства. А тогда было не так. Тогда... было славно.

– Папа, а кто его застрелил?

Мейкон перевел взгляд на сына.

– Наш папа не умел читать, он даже не умел написать свое же собственное имя. Ставил какую-то закорючку. Вот и одурачили его. Он что-то подписал, уж не знаю что, и вдруг эти люди говорят, мол, ферма перешла в их собственность. Он совсем неграмотный был. Я хотел научить его грамоте, но он сказал: «Если даже сегодня я эти крючочки запомню, завтра все равно забуду их». Он одно лишь слово в жизни написал – «Пилат», переписал его из Библии. Она носит в серье бумажку с этим именем. А зря не захотел он у меня учиться. Все скверное, что с ним случилось, из-за того и случилось, что он не умел читать. И имя его поэтому переврали.

– Имя? Как это?

– А когда объявили независимость. Все цветные в нашем штате должны были зарегистрироваться в управлении по делам невольников, получивших свободу.

– Так твой отец был рабом?

– Глупей ты ничего не мог спросить? Конечно, был. А кто не был рабом в 1869-м? Но регистрации подлежали все. И свободные, и не свободные. Вольные граждане и бывшие рабы. Папа был тогда еще подростком, он пошел на регистрацию и попал к какому-то пьяному янки. Тот сперва спросил место рождения; Папа ответил: Мейкон. Потом пьянчужка спросил, кто его отец. «Он помер», – сказал папа. Дальше тот задал вопрос, кто был его владельцем, и папа ответил: «Я свободен». Янки все его ответы записал, но не там, где надо. Местом рождения у него оказался какой-то «Скво-Боден», один черт знает, где его искать, а в графе «фамилия и имя» этот олух написал «Помер», поставил запятую и добавил «Мейкон». Но папа не умел читать, поэтому и не узнал, как его зарегистрировали, пока мама ему не сказала. Они встретились в фургоне, который ехал на Север. Поговорили о том о сем, и он ей рассказал, что раньше был невольником, и показал свои документы. Тогда мама прочитала вслух, что там написано.

– Но разве он не мог ничего изменить? Взял бы и поставил свое настоящее имя.

– Маме больше так понравилось. Ей понравилось новое имя. Оно сотрет память о прошлом, сказала она. Сотрет о нем всякую память.

– А как его настоящее имя?

– Мать я почти не помню. Она умерла, когда мне было четыре года. Красивая, со светлой кожей. Мне вообще казалось, что она похожа на белую женщину. Пилат и я не в нее пошли. Если когда засомневаешься, что мы африканцы, посмотри на Пилат. Вылитый папа, а он был точь-в-точь как африканцы, каких рисуют на картинках. Пенсильванский африканец. И вся повадка такая. Лицо вдруг станет замкнутое, словно дверь захлопнул.

– У Пилат один раз сделалось такое лицо. – Сейчас, когда отец заговорил с ним просто и по-свойски, Молочник сразу стал доверчивей и настороженность его прошла.

– Мейкон, я не передумал. Я не разрешаю тебе там бывать.

– Но почему? Ты так и не сказал – почему?

– А ты послушай, я все объясню. С этой женщиной не надо связываться. Она змея. Заворожить тебя она, конечно, может, но то она и змея, но ты об этом все время помни.

– Ты о родной своей сестре говоришь, ты же носил ее на руках каждое утро через поле.

– Э-э... когда все это было. Вот ты видел ее. Ну и как она тебе показалась? Приличная женщина? Нормальная?

– Ну, она...

– Или такая, что горло может перерезать?

– На такую она не похожа.

– Не похожа, но она такая.

– Но что она сделала?

– Не в том суть, что сделала. Она такая.

– Да какая?

– Змея, сказано тебе. Знаешь сказку про змею? Про то, как человек нашел змееныша? Значит, шел один раз человек и увидел, лежит змееныш, полураздавленный и весь в крови. Лежит прямо в грязи. Жалко стало его человеку, и поднял он змееныша, положил в корзинку и понес к себе домой. Выкормил и вынянчил его, и из змееныша выросла большая сильная змея. Хорошо кормил ее, все, что ел сам, то и ей давал. А потом в один прекрасный день змея вдруг бросилась на него и укусила. Вонзила ему прямо в сердце ядовитое жало. И перед тем, как испустить последнее дыхание, повернулся он к змее и говорит: «Ну зачем ты это сделала, – спрашивает, – разве плохо я о тебе заботился? Я ведь спас тебе жизнь». «Верно», – говорит змея. «Зачем же ты так сделала? Зачем ты меня убила?» Знаешь, что ему ответила змея? Она сказала: «Ты же знал, что я змея, разве не знал?» Так вот, я не шучу: в кабак этот не смей больше ходить и держись как можно дальше от Пилат.

Молочник опустил голову. Отец так ничего и не объяснил ему.

– Не трать время попусту, Мейкон. Кроме того, тебе пора уже поучиться, как надо работать. В понедельник начнем. После уроков приходи ко мне в контору. Поработаешь со мной часок-другой и узнаешь то, что знать необходимо. Пилат никогда не научит тебя такому, что может пригодиться в этой жизни. В будущей какой-то жизни ее наука, может, и сгодится, но не в этой, нет. Вот что, я тебе прямо сейчас скажу, самое важное, что нужно знать: приобретай. И приобретенное поможет тебе сделать новые приобретения. Тогда ты будешь сам себе хозяин и хозяином над другими людьми. С понедельника я примусь тебя учить.

Глава 3

Жизнь Молочника стала несравненно счастливее с тех пор, как он начал работать на Мейкона. Вопреки папашиним надеждам у него теперь оставалось куда больше времени на то, чтобы заглянуть в питейное заведение к тетке. Мейкон посылал его в свои доходные дома то с одним, то с другим поручением, благодаря чему у мальчика появилась возможность бывать в Южном предместье

и познакомиться с людьми, с которыми был так дружен Гитара. Молочник, дружелюбный и совсем еще юный, представлял собой полную противоположность отцу, и жильцы его не стеснялись: они могли и подразнить его, и угостить, и по душам с ним побеседовать. Но он стал реже видаться с Гитарой. Встречаться удавалось только по субботам. Встав в субботу утром пораньше, Молочник успевал к приятелю прежде, чем тот отправится шляться по улицам, и прежде, чем он сам начнет обход жильцов, помогая отцу собирать с них квартирную плату. Впрочем, случалось, и в будние дни друзья удирали с уроков, чтобы побродить по городу, и в один из таких дней Гитара привел его в бильярдную Фезера на Десятой улице, в самый центр района, известного под названием Донорский пункт.

Было одиннадцать утра, когда Гитара распахнул дверь в бильярдную и гаркнул:

– Привет, Фезер! Отпусти-ка две бутылки пива.

Фезер, низенький и коренастый, с жидкими курчавыми волосами, бросил взгляд на Гитару, потом на Молочника и нахмурился:

– Уведи его отсюда, сейчас же.

Гитара в полной растерянности на него уставился, потом тоже посмотрел на Молочника и опять перевел взгляд на Фезера. Несколько человек, игравших на бильярде, удивленно оглянулись. Трое были летчики-истребители из 332-й авиационной группы. Их шикарные кожаные куртки аккуратно висели на спинках стульев, там же красовались и фуражки. Волосы коротко острижены, рукава засучены, из задних карманов свисают белоснежные прямоугольники шарфов. Поблескивают на шее серебряные цепочки, в глазах веселое любопытство, а пальцы деловито натирают мелом кончик кия.

Гитара вспыхнул от смущения.

– Он со мной, – пояснил он.

– А я говорю, уведи его вон.

– Ну что ты, Фезер, это же мой друг.

– Это сын Мейкона Помера, верно?

– Ну и что?

– А то, что уведи его отсюда вон.

– Он не виноват, не он же выбирал себе отца, – сдержанно проговорил Гитара.

– Я тоже не виноват. Убирайтесь.

– Его отец тебе сделал что-то плохое?

– Пока нет. Поэтому пусть убирается вон.

– Он совсем не такой, как отец.

– Пусть даже не такой, он его сын – с меня и этого хватает.

– Ну, я отвечаю...

– Ладно, кончай торговаться. Уведи его. Слишком зелен еще, не созрел, чтобы видеть во сне голых баб.

Летчики засмеялись, а мужчина в серой соломенной шляпе с белой лентой сказал:

– Что за дела,пусти мальчонку, Фезер.

– Не вякай. Здесь хозяин я.

– Чем он тебе мешает? Двенадцатилетний парнишка. – Он с улыбкой посмотрел на Молочника, и тот еле удержался, чтобы не сказать: «Мне не двенадцать, а уже тринадцать».

– Это вроде бы не твое дело, верно? – огрызнулся Фезер. – Его папаша не твой домовладелец, ведь так? И лицензию не он тебе выдавал. Так какого же ты...

Фезер набросился на человека в шляпе с белой лентой так же желчно, как перед этим на мальчиков. Воспользовавшись тем, что он переключился на нового противника, Гитара стремительно выбросил руку вперед, словно метнул в ствол дерева топор, и крикнул: «Мы с тобой еще разберемся, приятель. Сейчас времени нет. Давай по-быстрому отсюда». Голос у него теперь стал громким, звучным, таким громким и звучным, что хватало на двоих. Молочник сунул руки в задние карманы и направился к двери вслед за Гитарой. Он немного вздернул голову, подчеркивая холодное высокомерие, которое, как он надеялся, летчики разглядели в его глазах.

Молча поплелись они по Десятой улице и остановились возле каменной скамьи у обочины тротуара. Они сели на скамью, спиной к двум мужчинам в белых халатах, которые внимательно на них поглядывали. Один стоял в дверях парикмахерской, прислонившись к косяку. Второй сидел, откинувшись, на стуле у зеркального стекла витрины той же парикмахерской. Это были владельцы заведения – Железнодорожный Томми и Больничный Томми. Мальчики ни слова не сказали ни друг другу, ни обоим Томми. Сидели молча и смотрели, как мимо проезжают машины.

– А что, Гитара, в ваших академах[5 - Академы – сад близ Афин, где Платон обучал своих учеников; здесь в значении «школа».] обрушились все залы? – сидя на стуле в той же позе, спросил Больничный Томми. Глаза у него беловатые, молочные, как у древних стариков, а тело крепкое и гибкое, вид моложавый. Говорит как бы небрежно, но чувствуется властность.

– Нет, сэр, – оглянувшись, ответил Гитара.

– Тогда скажи мне бога ради, что вы делаете вне их пределов в это время дня?

Гитара пожал плечами.

– Просто взяли выходной, мистер Томми.

– А твой спутник? У него тоже академический отпуск?

Гитара кивнул. Больничный Томми разговаривает как энциклопедия, большую часть сказанных им слов можно понять лишь по наитию. Молочник все смотрел

на проезжающие мимо машины.

– Мне кажется, день отдыха не очень-то вас веселит. Вы и в залах академов могли бы сидеть с точно таким же зловещим видом.

Гитара вынул из кармана две сигареты и протянул одну Молочнику.

– Просто я разозлился на Фезера.

– На Фезера?

– Ага. Он не позволил нам войти. Сам-то я всегда у него бываю. Всегда бываю, и он ничего не говорит. А сегодня он нас выставил. Сказал, мой друг, вот он, – слишком молодой. Слышали вы что-нибудь подобное? Это Фезер-то! Волнуется, что кто-то слишком молодой.

– Я не знал, что у Фезера в мозгу хватает извилин, чтобы волноваться.

– Нет у него никаких извилин. Просто строит из себя. Даже не позволил мне купить бутылку пива.

Железнодорожный Томми, стоявший в дверях, негромко рассмеялся.

– Всего и делов-то? Пива не захотел отпустить? – Он потер затылок и поманил Гитару пальцем. – Подойди-ка сюда, и я расскажу тебе, парень, еще об одной штуке, которой ты не получишь. Подойди-ка, говорю, сюда.

Они нехотя встали и бочком приблизились к хохочущему Томми.

– Ты думаешь, большая случилась беда? Пива тебе не отпустили? Погоди-ка, я задам тебе один вопрос. Ты стоял когда-нибудь в подсобном помещении вагона-ресторана поезда Балтимор – Огайо в полночь, когда кухня уже заперта, все чисто прибрано и готово к завтрашнему дню? Поезд мчится, путь свободен, и трое корешей поджидают тебя с нераспечатанной колодой карт?

Гитара покачал головой.

– Нет, я никогда...

– Вот именно, никогда. И никогда такого не дождешься. Ты и этого удовольствия будешь лишен, не говоря уж о бутылке пива.

Гитара улыбнулся.

– Мистер Томми... – начал он, но Томми перебил его:

– Ты когда-нибудь проводил две недели подряд на колесах, а потом возвращался домой, где тебя ожидала красивая женщина, чистые простыни и добрая порция отличного джина? А? – Он перевел взгляд на Молочника: – Бывало с тобой такое?

Молочник улыбнулся и сказал:

– Нет, сэр.

– Нет. Так вот, и впредь не надейся, потому как не бывало и не будет.

Больничный Томми отвернул полу халата и вынул сделанную из перышка зубочистку.

– Не дразни ребенка, Томми.

– Кто его дразнит? Я правду говорю. Ничего подобного с ним не будет. И ни с кем из них не будет. И еще кое-чего не будет у тебя. Не будет собственного вагона с четырьмя креслами, которые обиты красным бархатом и вращаются в любую сторону, куда тебе угодно их повернуть. Не будет, нет. И собственной уборной у тебя не будет, и собственной восьмифутовой софы, сделанной по специальному заказу. И слуги, и повара, и секретарши, которые путешествуют вместе с тобой и выполняют каждое твое распоряжение. Каждое: подогрейте воду для грелки до соответствующей температуры и позаботьтесь, чтобы в серебряном увлажнителе табак был свежим ежечасно и каждодневно. Вот чего еще не будет у тебя. Лежало у тебя когда-нибудь в кармане пять тысяч долларов наличными и случилось ли тебе зайти в банк и сказать директору, что тебе нужен такой-то дом на такой-то улице, и он немедленно бы тебе его продал? Нет, не случилось и не случится с тобой такого. И никогда не сможешь

ты приобрести особняк губернатора, и никогда не сможешь ты продать восемь тысяч акров леса. И не сможешь ты управлять судном, не сможешь вести поезд, и хотя при желании сможешь вступить в 32-ю авиационную группу, сбить лично тысячу немецких самолетов, приземлиться в тылу у Гитлера и отхлестать его собственноручно, но никогда у тебя на груди не появятся четыре звездочки и даже трех не будет. И никогда не внесут утром в твою спальню поднос, а на нем ваза с красной розой, две теплые булочки и горячий шоколад. Нет уж. Никогда. И фазана, уложенного на двадцать дней в листья кокосового ореха, и фаршированного диким рисом, и зажаренного на дровах до кондиции столь деликатной и нежной, что слеза прошибает. И не сможешь ты запивать его «Ротшильдом» разлива двадцать девятого года и даже «божол».

Несколько прохожих остановились послушать эту речь.

– Что тут происходит? – спросили они у Больничного Томми.

– Фезер не отпустил ребятам пива, – ответил он. Те рассмеялись.

– И не будет «Печеной Аляски»! – не унимался Железнодорожный Томми. – Даже не мечтайте! Никогда не будет.

– «Печеной Аляски» не будет? – Гитара выкатил глаза и ухватил себя обеими руками за горло. – Вы разбиваете мое сердце.

– То-то и оно. Кое-что тебе все же осталось – разбитое сердце. – Взгляд Томми смягчился, зато веселье внезапно погасло. – И возможность делать глупости. Делать их без конца. Вот на это ты можешь рассчитывать.

– Мистер Томми, сэр, – певуче произнес Гитара с издевательским напускным смирением. – Мы ведь хотели бутылочку пива, больше ничего.

– Это да, – ответил Томми. – Это точно, что ж, просим пассажиров занять места.

– Что такое «Печеная Аляска»? – Они расстались с обоими Томми так же внезапно, как встретили их, и брели дальше по Десятой улице.

– Сладкое блюдо, – ответил Гитара. – Дают на десерт.

– Вкусное?

– Не знаю. Я ведь не ем сладкого.

– Не ешь сладкого? – изумился Молочник. – А почему?

– У меня от него тошнота.

– Совсем не любишь сладкого?

– Только фрукты, больше ничего. Ни конфет, ни пирожных. Даже запаха не выношу. Выворачивает наизнанку.

Молочник решил, что его приятель не совсем здоров. Он не представлял себе, как можно не любить сладкого.

– У тебя, наверное, сахарный диабет.

– От того, что сахара не ешь, сахарный диабет не бывает. Он бывает, если ешь слишком много сахара.

– Ну, а в чем же тогда дело?

– Не знаю. Мне сразу вспоминаются мертвецы. Или белые. Блевать начинаю.

– Мертвецы?

– Во-во. И белые.

– Не понял.

Гитара не ответил, и Молочник продолжал:

– Давно это у тебя?

– С детства. С тех пор, как отца разрезало на лесопильном заводе, а босс явился и принес нам, ребятишкам, конфет. Благость. Целый мешок благости. Его супруга лично приготовила их специально для нас. Сладкая она, благость-то. Слаще патоки. Уж такая сладкая. Слаще, чем... – Он приостановился и вытер проступившие на лбу капли пота. Взгляд стал тусклым и растерянным. Он сплюнул на тротуар. – По... стой. – прошептал он и шагнул в узкое пространство между ресторанчиком, в котором продавали жареную рыбу, и парикмахерской Лилли.

Молочник подождал на тротуаре, терпеливо разглядывая занавешенное окно салона красоты. Салоны красоты всегда закрыты занавесками или шторами. В мужских парикмахерских не занавешивают окон. Женщины же, в отличие от мужчин, не хотят, чтобы прохожие смотрели, как их причесывают. Стесняются.

Появился Гитара; его так и не вырвало, но он намучился, слезы стояли в глазах.

– Пошли, – сказал он. – Надо купить сигарет с травкой. Уж это-то я могу себе позволить.

К тому времени, когда ему исполнилось четырнадцать, Молочник заметил, что у него одна нога короче другой. Если он стоял босиком, прямо, как столб, его левая ступня оказывалась примерно на полдюйма выше пола. Поэтому он никогда не стоял прямо: то ссутулится, то на что-нибудь облокотится, то выставит бок вперед – и никогда не говорил об этом никому ни слова... ни словечка. Когда Лина спросила: «Мама, отчего это он так ходит?», он ответил: «Как хочу, так и буду ходить, захочу, вообще наступлю на твою отвратную морду». Руфь сказала: «Уймись оба. Лина, просто у него сейчас переходный возраст». Но он-то знал: не в этом дело. Он не хромал, он вовсе не хромал, разве что еле-еле прихрамывал, но создавалось впечатление, будто он нарочно так ходит, изобрел эту походку специально для того, чтобы не выглядеть таким уж сопляком. Этот небольшой дефект его тревожил, представлялся позорным, и Молочник шел на всевозможные уловки, чтобы скрыть его. Он всегда сидел, положив ногу на ногу, левую на правую, и только так. Все новые танцы танцевал, чудно переступая негнувшимися, как бы окоченевшими ногами, и девочки приходили от этой манеры в восторг, а мальчики рано или поздно

начинали ее копировать. Изъян главным образом существовал в его сознании. И все же не только в сознании – после нескольких часов, проведенных на баскетбольной площадке, у него и в самом деле начинались стреляющие боли в левой ноге. Он лелеял это недомогание, считал его полиомиелитом и ощущал благодаря ему тайную связь между собою и покойным президентом Рузвельтом. Даже когда все превозносили Трумэна, учредившего Комитет по гражданским правам, Молочник втайне предпочитал ФДР[б - Франклин Делано Рузвельт.] и ощущал, что он с ним очень тесно связан. Теснее, говоря по правде, чем с собственным отцом, так как у Мейкона не было физических недостатков и, казалось, с годами он, наоборот, становился все крепче. Отца Молочник боялся, уважал его, но знал (из-за ноги), что никогда не сможет ему подражать. Поэтому он старался, насколько смелости хватало, быть непохожим на него. Мейкон был всегда чисто выбрит; Молочник мечтал об усах. Мейкон носил галстук-бабочку; Молочник – обычный галстук. Мейкон не разделял волосы пробором; Молочник выбрил у себя на голове пробор. Мейкон не выносил табака; Молочник норовил каждые четверть часа сунуть в рот сигарету. Мейкон стремился накопить как можно больше денег; Молочник – потратить. Но он не мог не разделять пристрастие Мейкона к хорошей обуви и к тонким изящным носкам. Кроме того, в качестве отцовского служащего он старался выполнять работу так, как требовал отец.

Мейкон был в восторге. Сын принадлежал теперь ему, а не Руфи и избавлял его от необходимости, собирая квартирную плату, мотаться по всему городу, словно он какой-то уличный разносчик. Таким образом, предприятие приобретало солидность. Мейкон же на досуге мог поразмышлять, обдумать новые планы, изучить газетные объявления, узнать, где состоятся аукционы, выяснить, какие интриги плетутся вокруг взимания налогов и не востребованных наследниками состояний, где и какие строятся дороги, торговые центры, школы, кто и каким образом добивается от правительства утверждения своих строительных проектов. Он знал: ему, негру, ни за что не достанется большой кусок пирога. Впрочем, существовали участки, на которые пока никто не льстился, мелкие кусочки, кромочки участков, которые кому-то очень не хотелось отдать в руки евреев или католиков, а также участки, которым никто еще пока не знал цены. Немалое количество начинки вываливалось из-под кромки пирога в 1945-м. Кое-что может достаться и ему. Во время войны дела Мейкона Помера пошли на лад. Не ладилось у него только с Руфью. И много лет спустя, когда война уже закончилась и начинка пирога плюхнулась ему прямо в руки, отчего ладони стали жирными, наполнился желудок и обозначилось объемистое брюшко, он все еще жалел, что не удушил ее в 1921-м. До сих пор она по временам не ночевала дома, но ей было уже пятьдесят, какой любовник так долго

продержится? И что это за любовник, если даже Фредди ничего о нем не знает? Мейкон решил, что это чушь, и теперь все реже сердился на жену настолько, чтобы захотелось влечь ей пощечину. В особенности после самого последнего раза, ставшего самым последним по существенной причине: сын не выдержал, вскочил и так ему врезал, что он свалился на отопительную батарею.

Молочнику было к тому времени двадцать два года, и, так как он уже шесть лет жил половой жизнью, да к тому же часть этого срока с постоянной любовницей, мать представилась ему в новом свете. Теперь он не видел в ней ту, что вечно заставляла его надевать калоши, потеплее кутаться и побольше есть, ту, что не позволяла приносить домой ничего интересного, коль скоро все интересное непременно влекло за собой грязь, шум или беспорядок. Сейчас она представлялась ему слабой женщиной, которая добровольно ограничила свою жизнь деятельностью незначительной и мелкой: взялась растить и пестовать таких подопечных, чье существование недолгосрочно и, прервавшись, не принесет ей боли, – рододендроны, золотых рыбок, георгины, герань, тюльпаны. А они и в самом деле умирали. Золотые рыбки всплывали на поверхность и, когда она постукивала ногтем по стеклу аквариума, не уносились в ужасе, прочерчивая следом за собой сверкающую, словно молния, дугу. Листья рододендронов становились все ярче, все шире, но потом, густо-зеленые, блестящие, как воск, внезапно тускнели и никли, повисали желтоватыми сердечками. В каком-то смысле Руфь завидовала смерти. В безбрежной печали, охватившей ее после смерти доктора, таилась и досада: ей казалось, доктор выбрал нечто интересней жизни и ей, Руфи, предпочел более занимательную спутницу – последовал за смертью, едва она его поманила. Присутствие смерти вселяло в Руфь несвойственные ей одушевление и смелость. Угроза смерти наделяла ее целеустремленностью, мужеством, ясностью мысли. Не придавая ни малейшего значения тому, что сделал Мейкон, она всегда подозревала, что отец ее не умер бы, если бы не захотел. И быть может, смутное ощущение, что она отвергнута, отринута (плюс желание отомстить Мейкону), побуждало ее подталкивать мужа на путь, который вел лишь к одному – к насилию. Неожиданные вспышки его гнева Лине казались неоправданными. Она видела, как мать намеренно вынуждает отца обнаружить не силу свою (девятилетний ребенок мог влечь Руфи пощечину, ничем не рискуя), а беспомощность. Обычно Руфь начинала что-то рассказывать, чистосердечно выставляя себя в самом смешном и нелепом виде. Сидя за обедом, она как бы невзначай заводила эти якобы безобидные разговоры – в самом деле, ведь из всех, кто находился за столом, лишь она одна попадала в неловкое положение, остальным же предоставлялась возможность полюбоваться ее чистосердечием и посмеяться над ее невежеством.

Например, она отправилась на свадьбу к внучке миссис Джворак. Анна Джворак, старуха-венгерка, лечилась в свое время у ее отца. У доктора Фостера было немало белых пациентов из рабочих, кроме того, он пользовал иногда жен служащих и мелких торговцев, считавших его интересным мужчиной. По мнению Анны Джворак, доктор Фостер в 1903 году чудесным образом спас жизнь ее сыну, не направив его вновь в туберкулезный санаторий. Чуть ли не все больные, уехавшие в этот санаторий, там и умерли. Анна не знала, что доктор не пользовался привилегией направлять своих пациентов в этот санаторий, и в «Приют милосердия» также. Не знала она и того, что лечение туберкулеза, практиковавшееся в 1903 году, было предельно пагубным для здоровья больных. Она знала лишь, что доктор прописал ее сыну какую-то диету, отдых в строго определенные часы и жир тресковой печени дважды в день. Мальчик остался в живых. Естественно, Анне хотелось, чтобы на свадьбе младшей дочери этого сына присутствовала дочь чудодея-врача. Руфь отправилась в церковь, и, когда молящиеся подошли к алтарю причаститься, вместе со всеми подошла и она. Опустившись на колени, она склонила голову в земном поклоне, не имея ни малейшего понятия о том, что предоставила священнику выбор: либо положить облатку ей на шляпу, либо просто пройти мимо нее. Он тотчас догадался, что она не католичка, так как при обращенных к ней словах она не подняла головы и не высунула язык, дабы он осторожно положил на него облатку.

– Corpus Domini Nostri Jesu Christi! [7 - Тело Господа нашего Иисуса Христа (лат.).] – сказал священник и, наклонившись к ней, свистящим шепотом: – Подымите голову. – Она выпрямилась, увидела облатку и прислужника, держащего под облаткой серебряный поднос. – Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam [8 - Тело Господа нашего Иисуса Христа во исцеление души (лат.).]. – Священник протянул ей облатку, и она открыла рот.

Позже, после венчания, священник прямо спросил ее, принадлежит ли она к католической церкви.

– Нет. Я методистка, – ответила Руфь.

– Я это понял, – сказал он. – Так вот, таинства нашей церкви предназначены для... – Но тут его прервала старая миссис Джворак.

– Отец мой, – сказала она, – я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера. Ее отец спас жизнь моему Рикки. Рикки не был

бы сегодня с нами, если бы...

Отец Пэдриу улыбнулся и пожал Руфи руку.

– Счастлив познакомиться с вами, мисс Фостер.

Простенький, но подробно рассказанный случай.

Лина впитывала в себя каждую фразу и сопереживала с матерью все ее душевные движения – от религиозного экстаза до бесхитростного признания того, какую неловкость она допустила. Коринфянам слушала, анализируя и выжидая: любопытно, каким образом мать подведет свой анекдот к ситуации, при которой Мейкон либо обрушит на нее свой гнев словесно, либо ее ударит. Молочник слушал невнимательно.

– «Вы принадлежите к католической церкви?» – спросил он меня. Ну, а я смутилась на мгновение, но потом ответила: «Нет. Я методистка». И он принялся мне объяснять, что в католической церкви могут причащаться лишь католики. Право же, я ни о чем подобном не слыхала. Я считала, причаститься может каждый. В нашей церкви любой человек может в первое же воскресенье получить благословение. Впрочем, не успел он все это мне изложить, как подходит Анна и говорит: «Отец мой, я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера». Ох, как он сразу заулыбался мне. И пожал руку, и сказал, что счастлив и что для него большая честь со мною познакомиться. Так что все окончилось благополучно. Но клянусь, я ни о чем таком даже понятия не имела. Явилась туда в полной невинности, как овечка.

– Ты не знала, что только католики причащаются в католической церкви? – спросил Мейкон Помер таким тоном, что было ясно: он ей не верит.

– Не знала, Мейкон. А откуда мне знать?

– Ты знаешь, что они строят отдельные школы для своих детей и не пускают их в общую школу, и все же думаешь, будто каждый, кто заглянет к ним в церковь, может заодно и в обрядах участвовать?

– Причастие есть причастие.

– Ты глупая женщина.

– Отец Пэдрю так не думает.

– Вела себя как дура.

– Миссис Джворак так не думает.

– Она просто старалась помешать тебе испортить свадебное торжество, ты ведь и так порядком ей напаскудила.

– Мейкон, я тебя прошу не употреблять таких слов при детях.

– Каких, к черту, детях? Каждый из них уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в голосовании.

– Не надо ссориться.

– В церкви ты вела себя как дура, потом поставила всех в неловкое положение, а теперь взахлеб рассказываешь нам, как ты там блистала?

– Мейкон...

– Врешь и не краснеешь, утверждая, будто ты так-таки ничего и не знала..

– Анна Джворак нисколько...

– Анне Джворак даже неизвестно твое имя! Она называет тебя «дочь доктора Фостера»! Сто долларов ставлю, она до сих пор не знает, как тебя зовут! Сама по себе ты никто. Папочкина дочка!

– Да, это так, – ответила Руфь тоненьким, но твердым голосом. – Разумеется, я папина дочка. – Она улыбнулась.

Мейкон даже не стал класть вилку на стол. Она выпала у него из руки, которая, продвигаясь над хлебницей, сжалась в кулак, с размаху врезавшийся в челюсть

Руфи.

Молочник ничего не обдумывал загодя, но он и раньше знал, что в один прекрасный день, после того как Мейкон ее ударит, а Руфь прикроет рукой губы, ощупывая зубы языком – целы ли, и, обнаружив, что целы, будет стараться незаметно для остальных вновь приладить выпавший мост, – что в этот день он наконец не выдержит. Не успел отец отвести руку, Молочник, схватив его за шиворот, рывком поставил на ноги и ударил так сильно, что тот свалился на батарею. Оконная штора затрепыхалась, как от сквозняка.

– Если ты еще хоть раз ее тронешь, я тебя убью. – Мейкон онемел от потрясения: он не представлял себе, что кто-то может поднять на него руку. После того как в течение многих лет он внушал людям почтение и страх всюду, где только появлялся, после того как в течение многих лет он привык в любой компании быть самым высоким, он поневоле стал считать себя неуязвимым. И вот он ползет вдоль стены, не спуская глаз с человека, который так же высок, как он, и притом на сорок лет моложе.

В то время как отца, пробиравшегося ползком вдоль стены, обуревали противоречивые чувства: унижение, гнев и невольная гордость за сына, – сын тоже находился во власти самых противоречивых эмоций. Больно и стыдно было видеть кем-то побежденного отца, и Молочника не радовало, что сам он – победитель. Печально сделать открытие, что простоявшая пять тысяч лет пирамида, одно из чудес цивилизованного мира, созданная упорным трудом строителей, которые из поколения в поколение с усердием и вдохновением возводили и совершенствовали ее, в действительности сделана в подсобном помещении универмага Сирса умелым декоратором, который дал гарантию, что она просуществует ровно столько, сколько длится человеческая жизнь.

В то же время он ликовал, как разыгравшийся жеребенок. Его желание наконец исполнилось – он что-то выиграл и одновременно что-то утратил. Безграничные возможности открылись перед ним, тяжелейшее бремя ответственности на него навалилось, но он не был готов к тому, чтобы воспользоваться первым и взвалить на себя второе. А потому он бодро обошел вокруг стола и спросил у матери:

– Ну, как ты?

Она ответила, разглядывая свои ногти:

– Все в порядке.

Молочник посмотрел на сестер. До сих пор в его глазах они ничем не отличались от матери, все трое выполняли, собственно, одну и ту же роль. Они были уже подростками, когда он родился; сейчас одной исполнилось тридцать пять, а другой – тридцать шесть. И так как Руфь была всего шестнадцатью годами старше Лины, ему казалось, все они примерно одних лет. Но сейчас, когда он посмотрел на сестер, они ответили ему взглядом, полным ненависти столь внезапной и жаркой, что он испугался. Нет, сейчас уже не казалось, будто их бледные глаза сливаются с кожей, еще более бледной. Сейчас казалось, будто их глаза густо обведены углем, будто по щекам их пролегли две борозды, а пунцовые губы так набрякли ненавистью, что готовы лопнуть. Он моргнул два раза, прежде чем их лица вновь обрели привычное, ласковое и слегка встревоженное выражение. Торопливо вышел из комнаты – он понял: здесь никто не поблагодарит его и не обругает. Его поступок коснулся его одного. Ничего не изменил он в отношениях его родителей. Ничего не изменил он у них в душе. Ударив отца, он, возможно, создал новую ситуацию па шахматной доске, но игра все равно будет продолжаться.

Он стал великодушным с тех пор, как начал спать с Агарью. Во всяком случае, он так считал. Рыцарственным. Во всяком случае, ему так чудилось. Таким рыцарственным и таким великодушным, что вступился за мать, о которой почти никогда не думал, и расквасил физиономию отцу, которого и любил, и боялся.

У себя в спальне он начал перебирать разложенные на туалетном столике вещицы. К шестнадцатилетию мать подарила ему две оправленные серебром щетки, на которых были выгравированы буквы П. М. – «Помер Мейкон», но их можно было также расшифровать как «профессор медицины». Они шутили на эту тему, и мать настойчиво намекала, что ему неплохо было бы поступить на медицинский факультет. Он отвертелся: «На что это будет похоже? Какой больной захочет пригласить врача по фамилии Помер?»

Мать засмеялась, но напомнила ему, что у него есть и второе имя – Фостер. Что, если из этого имени сделать фамилию? Профессор Мейкон Фостер. Ведь хорошо звучит? Он вынужден был признаться, что хорошо. Оправленные в серебро щетки постоянно напоминали ему, о чем она мечтала для него – не ограничить образование средней школой, а поступить в колледж и вслед за тем на

медицинский факультет. К деятельности мужа она питала не больше почтения, чем тот к выпускникам колледжа. Учиться в колледже, по мнению отца Молочника, значило тратить попусту время и не участвовать в бизнесе, а ведь бизнес учит приобретать. Вот дочерей ему непременно хотелось отдать в колледж, где они смогли бы подыскать себе подходящих мужей; одна из них, Коринфянам, в самом деле посещала колледж. Но Молочнику нет никакого смысла поступать туда, тем более что он приносит немалую пользу в конторе. Пользу настолько очевидную, что Мейкону удалось уговорить своих приятелей из банка побеседовать с какими-то другими их приятелями и перевести его сына из разряда подлежащих первоочередному воинскому призыву в разряд «необходим для поддержания семьи».

Молочник остановился перед зеркалом, освещенным низко висящим бра, и посмотрел на свое отражение. Оно, как и всегда, не произвело особого впечатления. У него было вполне приятное лицо. Глаза, которые нравились женщинам, твердая линия челюсти, великолепные зубы. По отдельности все выглядело неплохо. И даже более чем неплохо. Но связанности не было, в совокупности черты его лица не составляли единого целого. Все как-то неопределенно, смутно как-то, словно ты тайком заглядываешь из-за угла куда-то, где тебе быть не положено, и никак не можешь решиться, идти вперед или удрать. Задумано-то нечто важное, а вот задумано оно второпях, кое-как, не всерьез.

Так стоял он перед зеркалом и старался забыть, как отец крался вдоль стены, и вдруг услышал: в дверь постучали. Ему не хотелось видеть сейчас ни Лину, ни Коринфянам и не хотелось по секрету от всех обсуждать с матерью то, что случилось. Но он не испытал ни малейшего облегчения, разглядев в полутьме коридора отца. Струйка крови все еще темнела возле уголка его рта. Но стоял он прямо, глядел решительно.

– Послушай, папа, – начал Молочник. – Я...

– Помолчи, – ответил Мейкон и, отстранив его, прошел в спальню. – Сядь.

Молочник подошел к кровати.

– Послушай-ка, попробуем все это забыть. Если ты обещаешь...

– Тебе сказано, садись, значит, садись. – Мейкон говорил негромко, но лицо его стало похожим на лицо Пилат: он прикрыл дверь. – Ты у нас нынче стал большим человеком, но стать большим – это еще не штука. Нужно стать человеком в полном смысле слова. А если тебе хочется быть человеком в полном смысле, ты и правду должен знать все полностью.

– Не нужно мне ничего рассказывать. Мне вовсе не обязательно знать все про вас с мамой.

– Нет, рассказать нужно, и знать все это тебе обязательно. Если уж ты приохотился поднимать руку на отца, то располагай хотя бы некоторой информацией перед тем, как двинуть меня в следующий раз. Я отнюдь не собираюсь ни оправдываться, ни извиняться. Информация, и больше ничего.

Я женился на твоей матери в 1917-м. Ей исполнилось тогда шестнадцать лет, и жила она вдвоем с отцом. По-моему, я не был в нее влюблен. В те годы этого не требовалось, не то что нынче. Ну, конечно, вступая в брак, люди рассчитывали на уважительное отношение, верность и... ясность. Так уж нужно человеку: верить и полагаться на то, что муж с женой рассказывают о себе только правду, – иначе пропадешь. Когда ты выбираешь жену, самое главное, чтобы вы оба не расходились в мнениях насчет того, что для вас обоих будет самым главным.

Ее отцу я не понравился, и, должен сказать, я тоже очень сильно в нем разочаровался. Он был, пожалуй, самым почтенным негром в этом городе. Не самым богатым, зато самым уважаемым. Но какой же он был притворщик. Держал деньги в четырех разных банках. Всегда спокойный, важный. Я думал, он и на самом деле такой, а оказалось, он потихоньку нюхает эфир. Все негры в нашем городе его боготворили. А он их презирал. Называл каннибалами. Когда родились твои сестры, он лично принимал и первую и вторую, и оба раза единственное, что его интересовало, – это цвет их кожи. От тебя бы он отрекся. Мне не нравилось, что он вздумал быть акушером у собственной дочери, в особенности оттого, что его дочь – моя жена. В «Приют милосердия» цветных тогда не пускали. Да она бы и не пошла к другому врачу. Я хотел разыскать повивальную бабку, но доктор Фостер сказал, что все они нечистоплотны. Я ответил ему, что меня самого в свое время принимала повивальная бабка и что если она для моей матери сгодилась, то сгодится и для его дочери. Одним словом, мы крупно поговорили, и я сказал под конец, что ничего не может быть отвратней, чем отец, принимающий младенца у собственной дочери. В общем,

поставили точки над «і». После этого нам уже больше не о чем было спорить, но настояли-то они на своем. Он и Лину принял, и Коринфянам. Имена они позволили мне выбрать – я ткнул наугад пальцем в Библию, – а больше ничего. Сестры твои погодки, ты знаешь. И принимал ту и другую он. Присутствовал при родах, все видел. Я понимаю, он, конечно, врач, а врачей такие вещи вроде бы не волнуют, но он все-таки прежде всего мужчина, а потом уж врач. Я тогда понял: теперь они оба всегда будут против меня, и, что бы я ни делал, они своего добьются. Мне не давали забыть ни на миг, в чьем доме я живу, и где куплен наш фарфор, и как тесть выписал из Англии уотерфордскую вазу, а также стол, на который они поставили ее. Стол был такой большущий, что не влезал в дверь и его пришлось разобрать на части. Кроме того, доктор вечно бахвалился, что он вторым во всем нашем городе завел пароконный выезд.

Откуда я родом, на какой мы жили ферме – им на это было наплевать. И на мою работу тоже, неинтересно им это было, и конец. Я скупаю лачуги в трущобах – так именовали они мои дела. «Ну-с, как трущобы?» Такими словами приветствовал он меня каждый вечер.

Но не в том дело. С этим-то я мог примириться, потому что знал, чего хочу и как этого добиться. Так что примириться-то я с этим мог вполне. Да в общем-то, и примирялся. Мне другое было обидно: они не желали считаться со мной, кое к чему и близко не подпускали. Один раз я попытался пустить в оборот часть тех денег, что лежали у него в четырех банках. В те времена за некоторые земельные участки платили бешеные деньги. Их скупала железнодорожная компания «Эри Лакаванна». А у меня на эти участки нюх. Я там все обшарил: набережную, пристань, развилку 6-го и 2-го шоссе. Точно вычислил, где будет пролегать железная дорога. И нашел-таки участок, который можно было дешево купить, а потом перепродать компании. Он мне даже десятицентовика не пожелал одолжить. Если бы он раскошелился, то умер бы богатым человеком, а то ведь был ни то ни се. И мои дела пошли бы в гору. Я просил твою мать, чтобы поговорила с ним. Подробно объяснил ей, как пройдет эта дорога. А она ответила: это он сам должен решать, мол, она не вправе на него воздействовать. Мне, своему мужу, ответила так. Тут уж хочешь не хочешь, а задумаешься, за кем же она замужем – за мной или за ним.

Ну, а потом он заболел. – Мейкон внезапно замолчал, как будто эта тема напомнила ему о его собственной брэнности, и вынул из кармана белый носовой платок. Осторожно приложил его к разбитой губе. Поглядел на розовое пятнышко, оставшееся на материи. – Я думаю, – продолжал он, – вся его кровь

пропиталась этим самым эфиром. Они как-то по-другому обозвали его болезнь, но я-то знаю, все дело в эфире. Он не вставал с постели и весь распух. То есть тело распухло, руки же и ноги высохли как палки. Он перестал принимать пациентов, и впервые в жизни этот надутый осел понял, что за удовольствие болеть и платить другому ослу, чтобы он тебя вылечил. Один врач, тот, что его лечил – из тех врачей, которые сами-то его к своим клиникам и близко не подпускали, а если бы он явился к их дочерям или женам принимать младенца, просто заикнулся бы об этом, они бы его с лестницы спустили, – так вот, один из них, из тех, которых он считал достойными его внимания, принес однажды какое-то зелье под названием «радиатор» и заявил, что этим зельем вылечит его. Руфь под собой от радости земли не чуяла. Ему и впрямь сделалось лучше на несколько дней. Потом снова хуже. Он совсем не мог двигаться, кожа стала слезать с головы. Лежал себе и лежал в той самой кровати, в которой и до сих пор спит твоя мать, а потом умер там, беспомощный, с раздутым брюхом, с костлявыми руками и ногами, похожий на белую крысу. Он, понимаешь ли, давно уже не мог переваривать пищу. Поэтому его только поили, а потом он еще что-то глотал. Я и сейчас не сомневаюсь – тот же эфир.

Вечером, когда он умер, я как раз находился в другом конце города, мы пристраивали к дому мистера Бредли крыльцо. Покосилось-то оно давно, но лет двадцать продержалось, а потом вдруг сразу обвалилось. Я взял помощников, и мы пошли туда прилаживать крыльцо – а то ведь тем, кто из дому выходит, приходилось оттуда прыгать, а тем, кто входит, – без всяких ступеней карабкаться на три фута вверх. Кто-то подошел ко мне тихонько и сказал: «Доктор умер». Руфь, сказали мне, у него, наверху. Я представил себе, как она убивается, и тут же поспешил домой успокоить ее. Я не стал терять время на переодевание и поднялся к нему в спальню в той же одежде, в какой чинил крыльцо. Руфь сидела в кресле у его кровати и, едва увидела меня, вскочила и закричала: «Как ты смеешь появляться здесь в таком виде? Приведи себя в порядок! Приведи себя в порядок, прежде чем сюда заходить!» Я вообще-то обиделся, но я с почтением отношусь к мертвым. Я вышел из комнаты. Принял ванну, надел чистую рубашку и воротничок, а после этого опять вернулся.

Мейкон снова замолчал и потрогал распухшую губу, словно именно здесь гнездилась боль, мерцающая в его глазах.

– В постели, – сказал он и умолк так надолго, что Молочник усомнился, будет ли он продолжать. – В постели – вот где она находилась, когда я снова открыл дверь. Лежала рядом с ним и целовала его. Он лежит там мертвый, белый и

раздувшийся, и тощий, а она прижалась ртом к его пальцам.

Ну, скажу я, напереживался я тогда. Какие мне только ужасы не приходили в голову. Чьи дети Лина и Коринфянам? Ну, это я сообразил, что мои, ведь ясно же: старый подлец был не способен заделать ребенка. Куда уж там ему, ведь он нюхал эфир еще задолго до того, как я впервые появился у них в доме. Опять же, если б дети были не мои, он бы не волновался так по поводу цвета их кожи. Потом меня начали одолевать мысли насчет того, что он присутствовал при ее родах. Сношений между ними не было, об этом я не говорю. Но ведь и без сношений мало ли что он мог придумать! Во всяком случае, лежала же она в постели с мертвецом и чмокала его пальцы, а если так, то что же она вытворяла, когда он был жив? Убить такую женщину без всяких разговоров. Можешь мне поверить, я потом не раз жалел, что ее не прикончил. Но уж покоя в жизни я, конечно, не ждал. Иногда, понимаешь ты, Мейкон, иногда я не могу с собой совладать. Просто не успеваю. Нынче вот, когда она сказала: «Да, это так, я папина дочка», да еще с такой улыбочкой... – Мейкон поднял взгляд на сына. Взгляд был открытым, щеки пылали. Только голос чуть заметно дрогнул, когда он сказал: – Ведь я неплохой человек. Ты это должен знать. Поверить мне. Ну сам вот погляди, кто так серьезно относится к своим обязанностям, как я? Не говорю, что я святой, но хоть это-то ты понимать должен. Я тебя старше на сорок лет, и других сорока мне не прожить. В следующий раз, когда тебе взбредет в голову меня ударить, ты сперва подумай: кто он, этот человек, с которым я решил расправиться? А еще подумай, что в следующий раз я тебе, может, этого и не позволю. Я хоть и старик, но сумею дать тебе отпор.

Он встал и положил носовой платок в задний карман.

– Ничего не говори сейчас. Но как следует подумай обо всем, что я тебе сказал.

Нажал на ручку двери и не оглядываясь вышел.

Молочник все сидел на краешке кровати; было тихо, лишь слегка гудело в голове. У него появилось странное чувство полной непричастности к тому, что он услышал сейчас. Словно неожиданно разоткровенничался незнакомец, подсевший к нему на скамейку в парке. И хотя он целиком и полностью сочувствовал огорчениям незнакомца – отлично представляя себе, как именно воспринимает тот все, что с ним случилось, – сочувствие его отчасти основывалось на том обстоятельстве, что к нему самому история незнакомца не имеет отношения и ничем ему не грозит. Час или менее тому назад он

испытывал совершенно противоположные чувства. Тот посторонний, который вышел только что из его комнаты, был в то же время человеком, до такой степени ему небезразличным, что он с яростью ударил его. Он и сейчас ощущал зуд в плече от нестерпимого желания размахнуться и расквасить физиономию отцу. Поднимаясь к себе в спальню, он чувствовал, что он от всех отторгнут, но в то же время, что гнев его был справедлив. Он мужчина, на глазах у которого другой мужчина ударил беззащитное существо. Он не мог не вмешаться. Так повелось испокон веков. Мужчины всегда так поступают. Защищают слабых, обиженных и вступают в бой со злым великаном. А то, что слабой и обиженной оказалась его мать, а злым великаном – отец, лишь обострило ситуацию, но не изменило ее сути. Никким образом. И незачем делать вид, что его толкнула на этот поступок любовь к матери. Слишком бестелесна, слишком призрачна была Руфь, чтобы внушать любовь. Но как раз из-за своей бесплотности она и нуждалась в защите. Она не была замученной семейными обязанностями рабочей лошадью, отупевшей, согнувшейся под бременем домашних трудов и хлопот, запуганной грубияном мужем. Но в то же время не была она и сварливой мегерой, которая умеет постоять за себя и не лезет за словом в карман. Руфь была женщина неяркая, но вовсе не простая – она обладала утонченными манерами и всегда предпочитала прямым путем окольный путь. Она, кажется, довольно много знала, но очень мало понимала. Интересное наблюдение и совершенно неожиданное для него. Прежде ему не случалось размышлять над человеческими свойствами матери, усматривать в ней самостоятельно существующую личность, функции которой состоят не только в том, чтобы что-то позволять или запрещать ему.

Он надел куртку и вышел из дому. Было полвосьмого, еще не стемнело. Ему хотелось походить и подышать каким-то другим воздухом. Откуда ему знать, что он должен чувствовать, если он еще не знает, что ему думать. А думать было трудно в комнате, где поблескивала серебряная оправа щеток с буквами П. М. и на сиденье кресла, в котором только что сидел отец, еще виднелся отпечаток его зада. Разглядывая бледные звездочки, которые начали проступать на небе, Молочник пытался определить, что в рассказанной ему истории правда и какая часть этой правды имеет отношение к нему. Да и вообще, чего ради отец свалил на него эту, как он выразился, информацию? Ищет сочувствия? Интересно, как, по мнению отца, он теперь должен к ним обоим относиться? Ну, во-первых, не мешало бы узнать, правда ли все это. Правда ли, что мать... правда ли, что у нее было такое с собственным отцом? Мейкон говорит, что нет. Что доктор был импотентом. А откуда он знает? Впрочем, наверно, знает, раз говорит, потому что, если бы у него мелькнула хоть тень подозрения, будто такое возможно, уж он бы этого так не оставил. Тем не менее он допускает, что, даже будучи

импотентом, можно что-то «придумать». «Черт бы его побрал, – сказал Молочник вслух, – на кой ляд он вздумал мне рассказывать всю эту фигню!» Не хотел он ничего об этом знать. Все равно ничем не поможешь. Доктор умер. Прошлого не переделаешь.

Его смятение внезапно перешло в злость. «Идиотство, – прошептал он, – форменное идиотство». Если ему хотелось просто утихомирить меня, думал Молочник, то почему бы прямо не сказать? Пришел бы как человек и сказал: «Не психуй. Ты не психуй, и я не буду психовать. Оба перестанем психовать». И я ответил бы: «Ладно, годится». Так нет. Является ко мне и начинает черт-те что городить, объясняет, отчего и почему.

Молочник направлялся к Южному предместью. Может, удастся разыскать Гитару. Посидеть с Гитарой, выпить – сейчас бы самое оно. А не найдет Гитару, можно сходить к Агари. Хотя нет. Ему не хочется сейчас разговаривать с Агарью и вообще с женщинами. Разговаривать с ними о странном. А в самом деле, странная подобралась компания. Все ненормальные, вся их семейка. Пилат целыми днями распевает песни и плетет всякую чушь. Реба готова уцепиться за любые брюки. И Агарь ... ну что ж, Агарь просто милая, но и она ведь не такая, как все люди. Она тоже бывает с чудишкой. Но у них в доме хотя бы не скучно и никаких секретов нет.

Где он сейчас может быть, Гитара? Когда нужен, его сроду не найдешь. Какой-то попрыгунчик. То отсюда выпрыгнет, то оттуда, когда – не угадаешь, но только не вовремя. Молочник вдруг заметил, что нет-нет, да шепнет себе что-то под нос и на него глядят прохожие. И что это так много на улице людей в такое время? Куда они все прутся? Теперь он старался не произносить своих мыслей вслух.

«Тебе хочется быть человеком в полном смысле, ты и правду должен знать всю полностью», – сказал отец. А не могу ли я быть человеком в полном смысле и ничего такого не знать? «Располагай хотя бы некоторой информацией перед тем, как двинуть меня в следующий раз». Ладно. В чем же заключается информация? В том, что моя мама спала со своим папой. В том, что мой дедушка был светло-желтый негр, любил нюхать эфир и испытывал отвращение к людям с черной кожей. Тогда для чего же он позволил тебе жениться на его дочери? Для того, чтобы спать с ней, не вызывая подозрения соседей? А ты их хоть раз застал? Не застал. Но ты чувствовал, что тебя к чему-то не допускают. Возможно, к деньгам тестя. Он к ним тебя не допускал, ведь так? А его дочь не захотела помочь тебе, верно? И тогда у тебя возникла догадка, что они

занимаются развратом на операционном столе. Если бы он предоставил в твоё распоряжение все свои вклады в четырёх банках и ты смог бы купить железную дорогу «Эри Лакаванна», ты бы позволил ему делать все, что угодно, да? Он бы мог в постель к тебе улечься, и вы резвились бы там втроем. Один... другой...

Молочник вдруг остановился как вкопанный. Его прошиб холодный пот. Прохожие его толкали: он мешал всем, торчал на дороге. Он что-то вспомнил. Или, может, ему показалось, будто вспомнил. А может быть, это приснилось ему когда-то во сне, и он вспомнил сон. Сперва ему представились двое мужчин и его мать с обнаженной грудью, но едва перед ним возникла эта картина, как ее перерезала трещина, и из трещины возникла новая картина. Зеленая комната, очень маленькая зеленая комната, мать сидит в расстегнутой блузке, кормит кого-то грудью, а этот кто-то – он сам. Значит... Что же значит? Мать кормила меня грудью. Все матери кормят грудью своих детей, так почему же у меня нашее вдруг выступил холодный пот? Он пошел дальше, не замечая прохожих, которые, толкая, обгоняли его, их сердитых, раздраженных лиц. Он пытался поподробней оживить в памяти картину, но у него это не получалось. Потом услышал звук, и он знал, что звук этот как-то связан с картиной. Смех. Кто-то, невидимый ему, находится в зеленой комнате и смеется... над ним и над матерью, и матери стыдно. Она опускает глаза и не смотрит на него. «Посмотри на меня, мама. Посмотри на меня». Но она не смотрит, смех же раздается теперь громко. Все смеются. Может, он напрудил в штаны? В какие штаны? Он ведь не носил тогда штанов. Его заворачивали в пеленки. Грудные дети всегда пачкают пеленки. Так почему же ему кажется, будто на нем штаны? Синие короткие штанишки. Вельветовые гольфики. Почему он так одет? Может быть, тот человек смеется над его одеждой? Грудной ребенок почему-то одет в синие гольфики? Он стоит на полу. «Посмотри на меня, мама» – вот и все, что он может сказать. «Посмотри на меня, ну пожалуйста». Стоит? Да ведь он же грудной. Мать держит его на руках. Он не может стоять.

«Я не мог тогда стоять», – произносит он вслух и подходит к витрине. Он смотрит на свое лицо, выглядывающее из поднятого воротника, и все делается ясно. «Мать кормила меня грудью, когда я был уже такой большой, что умел разговаривать, мог стоять, носить штанишки, и кто-то это увидел и стал хохотать, и... и поэтому все называют меня Молочником, и именно поэтому отец не называет меня так, и мать меня так никогда не называет, зато называют все остальные. Как же я забыл все это? И почему она делала так? И если она делала это со мной без всякой причины – ведь я уже тогда пил из стакана молоко и овалтайн[9 - Напиток типа какао.], да и вообще я все пил тогда из стакана, – то, может быть, что-то другое она делала и со своим отцом?»

Молочник зажмурил глаза и снова их открыл. На улице еще прибавилось народу, и все двигались ему навстречу, из Южного предместья. Люди шли быстро, многие его толкали. Постояв еще немного, он заметил, что никто не идет по противоположному тротуару. На мостовой ни единой машины, улица освещена – уже зажглись фонари, – и видно, что она совершенно пустая. Он обернулся, пытаюсь понять, куда же направляется поток прохожих, но увидел только спины и шляпы, торопливо устремляющиеся в ночную тьму. Снова посмотрел он на противоположную сторону Недокторской улицы. Ни души.

Он тронул за плечо какого-то мужчину в кепке, чуть на него не наткнувшегося.

– Скажите, почему все идут только по этому тротуару? – спросил он.

– Убери лапу, приятель! – огрызнулся прохожий и заторопился дальше.

Молочник снова зашагал в сторону Южного предместья, и ему не пришло в голову, что ведь и сам он мог бы перейти на другую сторону, где нет ни одного человека.

Ему казалось, он рассуждает спокойно и четко. Сам он никогда не любил мать, зато знал, что она его любит. И ему всегда казалось, что это правильно, что именно так и должно быть. Ее постоянная, неизменная любовь к нему, любовь, которой он даже не должен был добиваться, стараться чем-то заслужить ее, представлялась ему естественной. И вот все поломалось. Да существует ли хоть один человек на свете, который его любит? Любит просто за то, что он такой, какой он есть? Посещая питейное заведение тетки, он (во всяком случае, ему казалось так до разговора с отцом) становился объектом любви, подобной той, которую питала к нему мать. Мать любила его собственнической любовью, Пилат и Реба как-то иначе, но и они принимали его безоговорочно, и он чувствовал себя у них как дома. К тому же они относились к нему с уважением. Задавали разные вопросы и не пропускали его ответы мимо ушей – иногда смеялись, иногда сердились. Дома мать и сестры с безмолвным пониманием встречали любой его поступок, а отец – равнодушно или неодобрительно. Обитательницы домика в Южном предместье никогда и ни к чему не оставались равнодушны и никогда и ничего не понимали. Каждая его фраза, каждое слово были для них откровением, и они вслушивались в его речь, блестя глазами, как вороны, трепеща от жгучего желания уловить и постигнуть все до единого звука. Сейчас он усомнился в них. Он во всех усомнился. Его отец ползком пробрался вдоль

стены, а потом поднялся на верхний этаж, чтобы сообщить ему ужасные вещи. Теперь собственная мать перестала быть в его глазах просто матерью, обожающей своего единственного сына, и превратилась в порочного ребенка, играющего в бесстыдные игры с любым существом мужского пола – с родным сыном, с родным отцом. И даже его сестры, самые уживчивые и терпимые из всех знакомых ему женщин, изменились до неузнаваемости: у них стали чужие лица, а глаза обвело чем-то угольно-черным и красным.

Где же Гитара? Найти его, найти, ведь только он один всегда и неизменно ясен, и, если он находится в пределах их штата, Молочник его непременно разыщет.

Он нашел его именно там, где ожидал, – в парикмахерской Томми. Кроме Гитары, там оказалось еще несколько человек, и все они стояли, напряженно вытянув шеи, иные слегка пригнувшись, а некоторые подавшись всем телом вперед, и что-то слушали.

Войдя в комнату и увидев спину своего приятеля, Молочник так обрадовался, что тут же гаркнул:

– Гитара, привет!

– Тсс, – шикнул Железнодорожный Томми. Гитара оглянулся и сделал Молочнику знак: мол, подойди поближе, только тихо. Все собравшиеся в комнате слушали радио и что-то бормотали себе под нос и покачивали головами. Молочник не сразу понял, что их так взволновало. Сообщали, что в округе Санфлауэр, штат Миссисипи, найден труп юноши-негра, его забили до смерти ногами. Искать преступников не было необходимости: убийцы, не скрываясь, похвалялись своим подвигом, – да и мотивы убийства не являлись тайной. Парень свистнул вслед какой-то белой женщине и не стал запираяться, сказал: спал, мол, и с другими. Он был северянин, на Юг приехал ненадолго. Фамилия его Тилл.

Железнодорожный Томми все шикал, чтобы не шумели и дали ему дослушать все сообщение до последнего звука. Закончилось оно быстро, так как, кроме нескольких предположений и еще меньшего количества фактов, диктору было нечего сообщить. Как только он перешел к следующей теме, парикмахерская загудела громкими голосами. Железнодорожный Томми, который раньше так старался всех утихомирить, в этом общем гомоне оставался безмолвным. Он подошел к ремню для правки бритв, а Больничный Томми в это время удерживал

клиента, который порывался встать с кресла. Портер, Гитара, привратник Фредди и еще трое или четверо посетителей, стоявшие кто посредине комнаты, кто по углам, негодовали яростно и бурно, понося убийц последними словами. Кроме Молочника, молчали только Железнодорожный Томми да Небоскреб: Железнодорожный Томми потому, что правил бритву, Небоскреб же потому, что был придурковатым, а может, и немым, впрочем, в последнем уверенности не было. Вот насчет его придурковатости ни у кого не возникало сомнений.

Говорили все сразу, и Молочнику с трудом удавалось определить, кто на чью реплику отвечает.

– Завтра это будет в утренних газетах.

– То ли будет, то ли нет, – заметил Портер.

– По радио же передали! В газетах точно должно быть! – сказал Фредди.

– Белые в своих газетах не печатают таких известий. Вот если бы изнасиловали кого.

– Спорим, напечатают. На что поспорим? – настаивал Фредди.

– Чего тебе не жалко, на то и спорь, – отозвался Портер.

– Ставлю пять бумажек.

– Нет, погоди, – крикнул Портер. – Мы не обговорили где.

– Что значит «где»? Я ставлю пять бумажек, что это напечатают завтра в утренней газете.

– На спортивной странице? – спросил Больничный Томми.

– На страничке юмора? – добавил Нерон Браун.

– Нет, друг любезный, на первой странице. Я спорю на пять долларов, что это сообщение напечатают на первой странице.

– Да какая же, к чертовой матери, разница? – заорал Гитара. – Парнишку до смерти затоптали ногами, а вас тревожит только одно – напечатает ли про это какой-нибудь говнюк в своей газете. Затоптали его, спрашиваю, а? До смерти, а? За то, что парень свистнул вслед какой-то Скарлетт О'Хара[10 - Героиня широко известного романа М. Митчелл «Унесенные ветром».]... белой дешевке.

– А зачем он это сделал? – спросил Фредди. – Он же знал, что он в Миссисипи. Он думал, какие там люди живут? Как в книжке про Тома Сойера?

– Ну свистнул! Ну и что? – ощерился Гитара. – Убить его за это надо?

– Он северянин, – ответил Фредди. – Приехал в южный штат, так смирененько себя ведет. Чего он о себе вообразил-то? Да кто он такой, как он думает?

– Он думал, что он человек, так-то вот, – сказал Железнодорожный Томми.

– Ну и неправильно думал, – не сдавался Фредди. – В южных штатах черные – не люди.

– Не брешь. Там и черные – люди, – сказал Гитара.

– Это кто же, например? – спросил Фредди.

– Тилл. Вот кто.

– Он мертвый. Мертвец – это уже не человек. Мертвец – это труп. Просто труп, и все тут.

– Живой трус – тоже не человек, – сказал Портер.

– Ты о ком это? – Фредди мигом смекнул, что оскорбление относится к нему лично.

– Угломонитесь-ка вы оба, – сказал Больничный Томми.

– О тебе! – гаркнул Портер.

– Так это ты меня трусом назвал? – Фредди решил для начала уточнить факты.

– Подходит тебе такое название – забирай и пользуйся на здоровье.

– Если вы и дальше собираетесь так галдеть, выметайтесь из моего заведения, – сказал Больничный Томми.

– Объясни ты ему, дураку, – сказал Портер.

– Я вполне серьезно, – продолжал Больничный Томми. – Не о чем вам тут больше орать. Парень умер. Мама его плачет. Не может с ним расстаться, не дает его похоронить. Хватит уже, не слишком ли много пролито негритянской крови? Пусть и они заплатят своей кровью, те сволочи, что раздробили каблуками его череп.

– Ну, этих то поймают, – сказал Уолтерс.

– Поймают? Их поймают? – в изумлении переспрашивал Портер. – Ты что же, совсем дурачок? Ну да, поймают, доставят в муниципалитет, устроят в их честь банкет и выдадут медали.

– Во-во. Весь город готовится к параду, – сказал Нерон.

– Ну должны же их поймать!

– Должны, значит, поймают. А толку-то? Ты думаешь, им срок дадут? Да никогда!

– Как же можно не дать им срок? – Голос Уолтерса стал звонким, напряженным.

– Как? Да не дадут, и все, вот как. – Портер нервно теребил цепочку от часов.

– Так ведь об этом же теперь все знают. Везде и каждому известно. Что ни говори, а закон есть закон.

– Поспорим? Вот уж верный выигрыш, без риска!

– Дурак ты. Форменный дурак. Для цветных законов нет, кроме одного закона – сажать их на электрический стул, – сказал Гитара.

– Они говорили, у Тилла был с собой нож.

– Они всегда так говорят. Если бы у него вынули из руки жевательную резинку, они бы поклялись, что он гранату нес.

– И все равно ему следовало держать язык за зубами, – сказал Фредди.

– Это тебе следует язык за зубами держать, – отрезал Гитара.

– Эй, ты что это? – Фредди опять почувствовал: запахло угрозой.

– Мерзко на Юге, – сказал Портер. – Паршиво там. Ни хрена не изменилось в добрых старых Соединенных Штатах нашей Америки. Голову наотрез, отец этого парня в свое время отправился на тот свет где-нибудь в районе Тихого океана.

– А если до сих пор не отправился, то его теперь отправит какая-нибудь сволочь. Не забыл тех солдат в восемнадцатом году?

– Ууу! Лучше и не вспоминать...

И пошли истории о зверствах, сперва истории, услышанные от кого-то, потом случившиеся у них на глазах, а под конец и то, что с ними самими случилось. Длинный перечень унижений, насилий, оскорблений пролился стремительным потоком и, серповидно изогнувшись, уткнулся острием юмора в самих рассказчиков. Они вспоминали, с какой скоростью неслись, какие позы принимали, на какие пускались уловки, хохоча как сумасшедшие и таким образом доказывая, сколь возможно, что не такие уж они страшные трусы, просто люди как люди. Молчал только Небоскреб, стоя с метлой в руке и выпятив губы, и был похож на умненького мальчика десяти лет.

И Гитара. Оживление его прошло, лишь в глазах посверкивали искорки.

Выждав некоторое время, Молочник поманил его к дверям. Они вышли и, не говоря ни слова, зашагали по улице.

– Что стряслось? Когда ты вошел, вид у тебя был паршивый.

– Ничего, – сказал Молочник. – Выпить бы куда зайти.

– К Мэри?

– Нет! Там слишком много девок.

– Сейчас только полдевятого. «Кедровник» не откроют до девяти.

– А, черт! Придумай сам. У меня башка устала.

– Пошли ко мне, найдется кое-что.

– Это мысль. А ящик твой работает?

– Чего захотел! Никак не соберусь починить.

– Мне хочется музыки. Музыка и выпить.

– Тогда придется посетить мисс Мэри. А ее девушек я устраню.

– Правда? Интересно поглядеть, как ты будешь этими дамочками распоряжаться.

– Пошли, пошли. Здесь тебе не Нью-Йорк, выбор ограничен.

– Ладно, уговорил. Потопали к Мэри.

Прошагав несколько кварталов, они добрались до угла Рэй-стрит и Десятой.

Проходя мимо маленькой булочной, Гитара проглотил слюну и ускорил шаг. Заведение Мэри, выполняющее функции ресторанчика-бара, было самым процветающим на Донорском пункте – хотя на каждом из остальных трех углов имелись аналогичные забегаловки, – и причиной этого успеха была сама Мэри, смазливая, хотя и чересчур накрашенная официантка, она же совладелица бара, бойкая, игривая, острая на язык, приятная и занятая собеседница. Шлюхи чувствовали себя здесь в безопасности; одинокие пьянчуги имели возможность нализаться без всяких тревог; фраера там находили все – от желторотых цыплят до видавших виды стервятников и даже подсадных уток; неугомонные домашние хозяйки упивались комплиментами и плясали так, что каблуки от туфель отлетали; подростки постигали здесь «правила жизни» – и никто из посетителей не скучал. Ибо освещение у Мэри было подобрано так, что все женщины выглядели красавицами, а если и не красавицами, то очень привлекательными. Музыка придавала особый тон и стиль разговорам, от которых в другом месте мухи дохли бы со скуки. А напитки и еда побуждали посетителей к поступкам самого драматического свойства.

Впрочем, начиналось все это часов в одиннадцать. В половине же девятого, когда пришли Гитара и Молочник, ресторанчик был почти пуст. Они быстро юркнули в кабинку и заказали шотландское виски с водой.

Молочник сразу осушил свой стакан, заказал новую порцию и только после этого спросил Гитару:

– Отчего все называют меня Молочником?

– Почем я знаю? Насколько мне известно, это твое имя.

– Мое имя Мейкон Помер.

– И ты притащил меня в такую даль, чтобы сообщить мне свое имя?

– Мне нужно это узнать.

– А ну тебя. Ты лучше пей до дна.

– Ты свое имя знаешь, верно ведь?

- Отстань. Чего ты ко мне прицепился?
- Я сегодня врезал своему старику.
- Врезал?
- Да. Я его так ударил, что он упал на батарею.
- А что он тебе сделал?
- Ничего.
- Ничего? Ты ни с того ни с сего ему вмазал?
- Угу.
- Безо всякой причины?
- Он ударил мать.
- А...
- Он ее ударил. А я его ударил.
- Сочувствую.
- Угу.
- Я не шучу.
- Я знаю. – Молочник тяжело вздохнул. – Я знаю.
- Слушай. Я ведь понимаю, что у тебя сейчас на душе.

– Как же! Ни фиги ты не понимаешь. Если с тобой такого не случилось, то не поймешь.

– Нет, я понимаю. Слушай, ты же знаешь, меня часто брали на охоту. У нас на Юге, еще когда я мальчонкой был...

– Вот не было печали. Опять пойдут истории про Алабаму?

– Я не из Алабамы. Из Флориды.

– Один черт.

– Не перебивай, Молочник. Послушай. Меня часто брали на охоту. Вот буквально только я начал ходить, и сразу же у меня прорезались способности к этому делу. Все говорили, я прирожденный охотник. Я мог услышать любой шорох, я чуял любой запах, я, как кошка, видел в темноте. Ты меня понял? Прирожденный охотник. И ничего я не боялся – ни темноты, ни крадущихся теней, ни непонятных звуков – и никогда не боялся убить. Я мог убить кого угодно. Кролика, птицу, змею, белку, оленя. А сам совсем еще малыш. И хоть бы что. Кто попадется, в того и стреляю. Взрослые просто со смеху помирали. Говорили, сама природа создала меня охотником. После того как мы с бабушкой перебрались сюда, я не скучал по Югу, скучал только по охоте. Поэтому, когда бабушка летом отправляла нас, ребят, на родину, я думал лишь о том, что снова смогу поохотиться. Запихнут нас, бывало, в автобус и отправят на все лето к бабушкиной сестре, тете Флоренс. И как только я туда приеду, сразу начинаю ждать, когда же мои дядюшки в лес соберутся. Однажды летом – мне было тогда, по-моему, лет десять-одиннадцать – отправились мы все вместе на охоту, и я отбил от остальных. Мне показалось, я заметил оленьи следы. И плевать мне было, что сезон не для охоты на оленей. Я в любом сезоне когда видел их, то убивал. Насчет следов я не ошибся, следы оказались оленьи, только расположены как-то чудно – мне казалось, между ними расстояние должно бы быть пошире, – но все равно я видел: оленьи следы. Они, понимаешь, след в след себе попадают. Если ты не видел раньше их следов, то подумаешь: какая-то двуногая скотинка пробежала. Ну, я все равно иду, иду себе по следу, потом гляжу – кустарник. Свет падал удачно, и я вскоре разглядел среди ветвей оленя. Первым же выстрелом я свалил его, вторым – прикончил. Так приятно мне, знаешь ли, радостно стало. Представил себе, как показываю дядюшкам свою добычу. Но я добрался до места, где лежало тело – а шел я медленно, не торопясь, опасался, как бы не пришлось мне еще раз стрельнуть, – и увидел: это

самка. Старая уже, но все равно – самка. И стало мне... тошно. Понимаешь ты, о чем я? Самку убил. Самку, понимаешь ты?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Линдберг Чарлз (1902–1974) – американский летчик. В 1927 г. совершил первый беспересадочный полет через Атлантический океан. – Здесь и далее примеч. перев.

2

Джордж Бейкер (1875–1965) – глава и основатель культа «Миссии мира».

3

Грант Улисс Симпсон (1822–1885) – в Гражданскую войну в США 1861–1865 гг. главнокомандующий армией Севера.

4

Ли Роберт Эдуард (1807–1870) – в Гражданскую войну в США главнокомандующий армией южан.

5

Академы – сад близ Афин, где Платон обучал своих учеников; здесь в значении «школа».

6

Франклин Делано Рузвельт.

7

Тело Господа нашего Иисуса Христа (лат.).

8

Тело Господа нашего Иисуса Христа во исцеление души (лат.).

9

Напиток типа какао.

10

Героиня широко известного романа М. Митчелл «Унесенные ветром».

Купить: https://tellnovel.com/morrison_toni/pesn-solomona

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)